КНИГИ ДЛЯ ВНЕКЛАССНОГО ЧТЕНИЯ

Иван Тургенев

ЗАПИСКИ ОХОТНИКА

МУМУ



#эксмодетство

Записки охотника. Муму

Иван Сергеевич Тургенев

Аннотация
Иван Тургенев. Записки охотника. Муму
Записки охотника
- Хорь и Калиныч
- Малиновая вода
- Уездный лекарь
- Льгов
- Бежин луг
- Бурмистр
- Два помещика
- Певцы
- Гамлет Щигровского уезда
- Живые мощи
- Лес и степь

Муму
Иллюстрации

Аннотация

В сборник вошли известный рассказ “Муму” и несколько произведений из цикла “Записки охотника”. Завораживающие описания российской глубинки, тонкие наблюдения за бытом крестьян и помещиков – всё это Иван Тургенев объединяет в интересные сюжеты и представляет читателям.

В книге использованы чёрно-белые силуэтные иллюстрации Елизаветы Бём и цветные – Михаила Фёдорова.

Иван Тургенев
Записки охотника. Муму

Художники Елизавета Бём и Михаил Фёдоров
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2023

* * *

Иван Тургенев

Записки охотника

Муму



Иллюстрации
Елизаветы Бём и Михаила Фёдорова

#эксмодетство
Москва
2025

Записки охотника

Хорь и Калиныч

Кому случалось из Волховского уезда перебираться в Жиздринский, того, вероятно, поражала резкая разница между породой людей в Орловской губернии и калужской породой. Орловский мужик невелик ростом, сутуловат, угрюм, глядит исподлобья, живёт в дрянных осиновых избёнках, ходит на барщину, торговлей не занимается, ест плохо, носит лапти; калужский оброчный мужик обитает в просторных сосновых избах, высок ростом, глядит смело и весело, лицом чист и бел, торгует маслом и дёгтем и по праздникам ходит в сапогах. Орловская деревня (мы говорим о восточной части Орловской губернии) обыкновенно расположена среди распаханных полей, близ оврага, кое-как превращённого в грязный пруд. Кроме немногих ракит, всегда готовых к услугам, да двух-трёх тощих берёз, деревца на версту кругом не увидишь; изба лепится к избе, крыши закиданы гнилой соломой… Калужская деревня, напротив, большею частью окружена лесом; избы стоят вольней и прямей, крыты тёсом; ворота плотно запираются, плетень на задворке не размётан и не вывалился наружу,

не зовёт в гости всякую прохожую свинью… И для охотника в Калужской губернии лучше. В Орловской губернии последние леса и площадя́[1] исчезнут лет через пять, а болот и в помине нет; в Калужской, напротив, засеки тянутся на сотни, болота на десятки вёрст, и не перевелась ещё благородная птица тетерев, водится добродушный дупель, и хлопотунья куропатка своим порывистым взлётом веселит и пугает стрелка и собаку.

В качестве охотника посещая Жиздринский уезд, сошёлся я в поле и познакомился с одним калужским мелким помещиком, Полутыкиным, страстным охотником и, следовательно, отличным человеком. Водились за ним, правда, некоторые слабости: он, например, сватался за всех богатых невест в губернии и, получив отказ от руки и от дому, с сокрушённым сердцем доверял своё горе всем друзьям и знакомым, а родителям невест продолжал посылать в подарок кислые персики и другие сырые произведения своего сада; любил повторять один и тот же анекдот, который, несмотря на уважение г-на

[1] Примечания: 1

«Площадями» называются в Орловской губернии большие сплошные массы кустов; орловское наречие отличается вообще множеством своебытных, иногда весьма метких, иногда довольно безобразных, слов и оборотов (*Прим. автора*).

Полутыкина к его достоинствам, решительно никогда никого не смешил; хвалил сочинения Акима Нахимова и повесть *Пинну;* заикался; называл свою собаку Астрономом; вместо *однако* говорил *одначе* и завёл у себя в доме французскую кухню, тайна которой, по понятиям его повара, состояла в полном изменении естественного вкуса каждого кушанья: мясо у этого искусника отзывалось рыбой, рыба — грибами, макароны — порохом; зато ни одна морковка не попадала в суп, не приняв вида ромба или трапеции. Но, за исключением этих немногих и незначительных недостатков, г-н Полутыкин был, как уже сказано, отличный человек.

В первый же день моего знакомства с г. Полутыкиным он пригласил меня на ночь к себе.

— До меня вёрст пять будет, — прибавил он, — пешком идти далеко; зайдёмте сперва к Хорю. (Читатель позволит мне не передавать его заиканья.)

— А кто такой Хорь?

— А мой мужик… Он отсюда близёхонько.

Мы отправились к нему. Посреди леса, на расчищенной и разработанной поляне, возвышалась одинокая усадьба Хоря. Она состояла из нескольких сосновых срубов, соединённых заборами;

перед главной избой тянулся навес, подпёртый тоненькими столбиками. Мы вошли. Нас встретил молодой парень, лет двадцати, высокий и красивый.

— А, Федя! Дома Хорь? — спросил его г-н Полутыкин.

— Нет, Хорь в город уехал, — отвечал парень, улыбаясь и показывая ряд белых, как снег, зубов. — Тележку заложить прикажете?

— Да, брат, тележку. Да принеси нам квасу.

Мы вошли в избу. Ни одна суздальская картина[2] не залепляла чистых бревенчатых стен; в углу, перед тяжёлым образом в серебряном окладе, теплилась лампадка; липовый стол недавно был выскоблен и вымыт; между брёвнами и по косякам окон не скиталось резвых прусаков, не скрывалось задумчивых тараканов. Молодой парень скоро появился с большой белой кружкой, наполненной хорошим квасом, с огромным ломтём пшеничного хлеба и с дюжиной солёных огурцов в деревянной миске. Он поставил все эти припасы на стол, прислонился к двери и начал с улыбкой на нас поглядывать.

---

[2] Примечания: 2

Су́здальская жи́вопись — во времена И. С. Тургенева распространённое ремесло в Суздальском уезде Владимирской губернии; примитивная, но дешёвая иконопись.

Не успели мы доесть нашей закуски, как уже телега застучала перед крыльцом. Мы вышли. Мальчик лет пятнадцати, кудрявый и краснощёкий, сидел кучером и с трудом удерживал сытого пегого жеребца. Кругом телеги стояло человек шесть молодых великанов, очень похожих друг на друга и на Федю. «Всё дети Хоря!» — заметил Полутыкин. «Всё Хорьки, — подхватил Федя, который вышел вслед за нами на крыльцо, — да ещё не все: Потап в лесу, а Сидор уехал со старым Хорём в город... Смотри же, Вася, — продолжал он, обращаясь к кучеру, — духом сомчи: барина везёшь. Только на толчках-то, смотри, потише: и телегу-то попортишь, да и барское черево обеспокоишь!» Остальные Хорьки усмехнулись от выходки Феди. «Подсадить Астронома!» — торжественно воскликнул г-н Полутыкин. Федя, не без удовольствия, поднял на воздух принуждённо улыбавшуюся собаку и положил её на дно телеги. Вася дал вожжи лошади. Мы покатили. «А вот это моя контора, — сказал мне вдруг г-н Полутыкин, указывая на небольшой низенький домик, — хотите зайти?» — «Извольте». — «Она теперь упразднена, — заметил он, слезая, — а всё посмотреть стоит». Контора состояла из двух пустых комнат. Сторож, кривой старик, прибежал

с задворья. «Здравствуй, Миняич, — проговорил г-н Полутыкин, — а где же вода?» Кривой старик исчез и тотчас вернулся с бутылкой воды и двумя стаканами. «Отведайте, — сказал мне Полутыкин, — это у меня хорошая, ключевая вода». Мы выпили по стакану, причём старик нам кланялся в пояс. «Ну, теперь, кажется, мы можем ехать, — заметил мой новый приятель. — В этой конторе я продал купцу Аллилуеву четыре десятины лесу за выгодную цену». Мы сели в телегу и через полчаса уже въезжали на двор господского дома.

— Скажите, пожалуйста, — спросил я Полутыкина за ужином, — отчего у вас Хорь живёт отдельно от прочих ваших мужиков?

— А вот отчего: он у меня мужик умный. Лет двадцать пять тому назад изба у него сгорела; вот и пришёл он к моему покойному батюшке и говорит: дескать, позвольте мне, Николай Кузьмич, поселиться у вас в лесу на болоте. Я вам стану оброк платить хороший. — «Да зачем тебе селиться на болоте?» — «Да уж так; только вы, батюшка, Николай Кузьмич, ни в какую работу употреблять меня уж не извольте, а оброк положите, какой сами знаете». — «Пятьдесят рублёв в год!» — «Извольте». — «Да без недоимок у меня, смотри!» — «Известно, без недоимок...» Вот

он и поселился на болоте. С тех пор Хорём его и прозвали.

— Ну, и разбогател? — спросил я.

— Разбогател. Теперь он мне сто целковых оброка платит, да ещё я, пожалуй, накину. Я уж ему не раз говорил: «Откупись, Хорь, эй, откупись!..» А он, бестия, меня уверяет, что нечем; денег, дескать, нету... Да, как бы не так!..

На другой день мы тотчас после чаю опять отправились на охоту. Проезжая через деревню, г-н Полутыкин велел кучеру остановиться у низенькой избы и звучно воскликнул: «Калиныч!» — «Сейчас, батюшка, сейчас, — раздался голос со двора, — лапоть подвязываю». Мы поехали шагом; за деревней догнал нас человек лет сорока, высокого роста, худой, с небольшой загнутой назад головкой. Это был Калиныч. Его добродушное смуглое лицо, кое-где отмеченное ря́бинами, мне понравилось с первого взгляда. Калиныч (как узнал я после) каждый день ходил с барином на охоту, носил его сумку, иногда и ружьё, замечал, где садится птица, доставал воды, набирал земляники, устроивал шалаши, бегал за дрожками; без него г-н Полутыкин шагу ступить не мог. Калиныч был человек самого весёлого, самого кроткого нрава, беспрестанно

попевал вполголоса, беззаботно поглядывал во все стороны, говорил немного в нос, улыбаясь, прищуривал свои светло-голубые глаза и часто брался рукою за свою жидкую, клиновидную бороду. Ходил он нескоро, но большими шагами, слегка подпираясь длинной и тонкой палкой. В течение дня он не раз заговаривал со мною, услуживал мне без раболепства, но за барином наблюдал, как за ребёнком. Когда невыносимый полуденный зной заставил нас искать убежища, он свёл нас на свою пасеку, в самую глушь леса. Калиныч отворил нам избушку, увешанную пучками сухих душистых трав, уложил нас на свежем сене, а сам надел на голову род мешка с сеткой, взял нож, горшок и головешку и отправился на пасеку вырезать нам сот. Мы запили прозрачный тёплый мёд ключевой водой и заснули под однообразное жужжанье пчёл и болтливый лепет листьев.

Лёгкий порыв ветерка разбудил меня… Я открыл глаза и увидел Калиныча: он сидел на пороге полураскрытой двери и ножом вырезывал ложку. Я долго любовался его лицом, кротким и ясным, как вечернее небо. Г-н Полутыкин тоже проснулся. Мы не тотчас встали. Приятно после долгой ходьбы и глубокого сна лежать непо-

движно на сене: тело нежится и томится, лёгким жаром пышет лицо, сладкая лень смыкает глаза. Наконец мы встали и опять пошли бродить до вечера. За ужином я заговорил опять о Хоре да о Калиныче. «Калиныч — добрый мужик, — сказал мне г. Полутыкин, — усердный и услужливый мужик; хозяйство в исправности, одначе, содержать не может: я его всё оттягиваю. Каждый день со мной на охоту ходит… Какое уж тут хозяйство, — посудите сами». Я с ним согласился, и мы легли спать.

На другой день г-н Полутыкин принуждён был отправиться в город по делу с соседом Пичуковым. Сосед Пичуков запахал у него землю и на запаханной земле высек его же бабу. На охоту поехал я один и перед вечером завернул к Хорю. На пороге избы встретил меня старик — лысый, низкого роста, плечистый и плотный — сам Хорь. Я с любопытством посмотрел на этого Хоря. Склад его лица напоминал Сократа: такой же высокий, шишковатый лоб, такие же маленькие глазки, такой же курносый нос. Мы вошли вместе в избу. Тот же Федя принёс мне молока с чёрным хлебом. Хорь присел на скамью и, преспокойно поглаживая свою курчавую бороду, вступил со мною в разговор. Он, казалось, чувствовал своё досто-

инство, говорил и двигался медленно, изредка посмеивался из-под длинных своих усов.

Мы с ним толковали о посеве, об урожае, о крестьянском быте… Он со мной всё как будто соглашался; только потом мне становилось совестно, и я чувствовал, что говорю не то… Так оно как-то странно выходило. Хорь выражался иногда мудрёно, должно быть, из осторожности… Вот вам образчик нашего разговора:

— Послушай-ка, Хорь, — говорил я ему, — отчего ты не откупишься от своего барина?

— А для чего мне откупаться? Теперь я своего барина знаю и оброк свой знаю… барин у нас хороший.

— Всё же лучше на свободе, — заметил я.

Хорь посмотрел на меня сбоку.

— Вестимо, — проговорил он.

— Ну, так отчего же ты не откупаешься?

Хорь покрутил головой.

— Чем, батюшка, откупиться прикажешь?

— Ну, полно, старина…

— Попал Хорь в вольные люди, — продолжал он вполголоса, как будто про себя, — кто без бороды живёт, тот Хорю и на́больший.

— А ты сам бороду сбрей.

— Что борода? Борода — трава: скосить можно.

— Ну, так что ж?

— А, знать, Хорь прямо в купцы попадёт; купцам-то жизнь хорошая, да и те в бородах.

— А что, ведь ты тоже торговлей занимаешься? — спросил я его.

— Торгуем помаленьку маслишком да дёгтишком… Что же, тележку, батюшка, прикажешь заложить?

«Крепок ты на язык и человек себе на уме», — подумал я.

— Нет, — сказал я вслух, — тележки мне не надо; я завтра около твоей усадьбы похожу и, если позволишь, останусь ночевать у тебя в сенном сарае.

— Милости просим. Да покойно ли тебе будет в сарае? Я прикажу бабам постлать тебе простыню и положить подушку. Эй, бабы! — вскричал он, поднимаясь с места, — сюда, бабы!.. А ты, Федя, поди с ними. Бабы ведь народ глупый.

Четверть часа спустя Федя с фонарём проводил меня в сарай. Я бросился на душистое сено, собака свернулась у ног моих; Федя пожелал мне доброй ночи, дверь заскрипела и захлопнулась. Я довольно долго не мог заснуть. Корова подошла к двери, шумно дохнула раза два; собака с достоинством на неё зарычала; свинья прошла мимо, задумчи-

во хрюкая; лошадь где-то в близости стала жевать сено и фыркать… Я наконец задремал.

На заре Федя разбудил меня. Этот весёлый, бойкий парень очень мне нравился; да и, сколько я мог заметить, у старого Хоря он тоже был любимцем. Они оба весьма любезно друг над другом подтрунивали. Старик вышел ко мне навстречу. Оттого ли, что я провёл ночь под его кровом, по другой ли какой причине, только Хорь гораздо ласковее вчерашнего обошёлся со мной.

— Самовар тебе готов, — сказал он мне с улыбкой, — пойдём чай пить.

Мы уселись около стола. Здоровая баба, одна из его невесток, принесла горшок с молоком. Все его сыновья поочерёдно входили в избу.

— Что у тебя за рослый народ! — заметил я старику.

— Да, — промолвил он, откусывая крошечный кусок сахару, — на меня да на мою старуху жаловаться, кажись, им нечего.

— И все с тобой живут?

— Все. Сами хотят, так и живут.

— И все женаты?

— Вон один, пострел, не женится, — отвечал он, указывая на Федю, который по-прежнему прислонился к двери. — Васька, тот ещё молод,

тому погодить можно.

— А что мне жениться? — возразил Федя, — мне и так хорошо. На что мне жена? Лаяться с ней, что ли?

— Ну, уж ты… уж я тебя знаю! Кольца серебряные носишь… Тебе бы всё с дворовыми девками нюхаться… «Полноте, бесстыдники!» — продолжал старик, передразнивая горничных. — Уж я тебя знаю, белоручка ты этакой!

— А в бабе-то что хорошего?

— Баба — работница, — важно заметил Хорь. — Баба мужику слуга.

— Да на что мне работница?

— То-то, чужими руками жар загребать любишь. Знаем вашего брата.

— Ну, жени меня, коли так. А? что! Что ж ты молчишь?

— Ну, полно, полно, балагур. Вишь, барина мы с тобой беспокоим. Женю небось… А ты, батюшка, не гневись: дитятко, видишь, малое, разуму не успело набраться.

Федя покачал головой…

— Дома Хорь? — раздался за дверью знакомый голос, — и Калиныч вошёл в избу с пучком полевой земляники в руках, которую нарвал он для своего друга, Хоря. Старик радушно его привет-

ствовал. Я с изумлением поглядел на Калиныча: признаюсь, я не ожидал таких «нежностей» от мужика.

Я в этот день пошёл на охоту часами четырьмя позднее обыкновенного и следующие три дня провёл у Хоря. Меня занимали новые мои знакомцы. Не знаю, чем я заслужил их доверие, но они непринуждённо разговаривали со мной. Я с удовольствием слушал их и наблюдал за ними. Оба приятеля нисколько не походили друг на друга. Хорь был человек положительный, практический, административная голова, рационалист; Калиныч, напротив, принадлежал к числу идеалистов, романтиков, людей восторженных и мечтательных. Хорь понимал действительность, то есть: обстроился, накопил деньжонку, ладил с барином и с прочими властями; Калиныч ходил в лаптях и перебивался кое-как. Хорь расплодил большое семейство, покорное и единодушное; у Калиныча была когда-то жена, которой он боялся, а детей и не бывало вовсе. Хорь насквозь видел г-на Полутыкина; Калиныч благоговел перед своим господином. Хорь любил Калиныча и оказывал ему покровительство; Калиныч любил и уважал Хоря. Хорь говорил мало, посмеивался и разумел про себя; Калиныч объяснялся

с жаром, хотя и не пел соловьём, как бойкий фабричный человек… Но Калиныч был одарён преимуществами, которые признавал сам Хорь, например: он заговаривал кровь, испуг, бешенство, выгонял червей; пчёлы ему дались, рука у него была лёгкая. Хорь при мне попросил его ввести в конюшню новокупленную лошадь, и Калиныч с добросовестною важностью исполнил просьбу старого скептика. Калиныч стоял ближе к природе; Хорь же — к людям, к обществу; Калиныч не любил рассуждать и всему верил слепо; Хорь возвышался даже до иронической точки зрения на жизнь. Он много видел, много знал, и от него я многому научился. Например, из его рассказов узнал я, что каждое лето, перед покосом, появляется в деревнях небольшая тележка особенного вида. В этой тележке сидит человек в кафтане и продаёт косы. На наличные деньги он берёт рубль двадцать пять копеек — полтора рубля ассигнациями; в долг — три рубля и целковый. Все мужики, разумеется, берут у него в долг. Через две-три недели он появляется снова и требует денег. У мужика овёс только что скошен, стало быть, заплатить есть чем; он идёт с купцом в кабак и там уже расплачивается. Иные помещики вздумали было покупать сами косы

на наличные деньги и раздавать в долг мужикам по той же цене; но мужики оказались недовольными и даже впали в уныние; их лишали удовольствия щёлкать по косе, прислушиваться, перевёртывать её в руках и раз двадцать спросить у плутоватого мещанина-продавца: «А что, малый, коса-то не больно того?» Те же самые проделки происходят и при покупке серпов, с тою только разницей, что тут бабы вмешиваются в дело и доводят иногда самого продавца до необходимости, для их же пользы, поколотить их. Но более всего страдают бабы вот при каком случае. Поставщики материала на бумажные фабрики поручают закупку тряпья особенного рода людям, которые в иных уездах называются «орлами». Такой «орёл» получает от купца рублей двести ассигнациями и отправляется на добычу. Но, в противность благородной птице, от которой он получил своё имя, он не нападает открыто и смело: напротив, «орёл» прибегает к хитрости и лукавству. Он оставляет свою тележку где-нибудь в кустах около деревни, а сам отправляется по задворьям да по задам, словно прохожий какой-нибудь или просто праздношатающийся. Бабы чутьём угадывают его приближенье и крадутся к нему навстречу. Второпях совершается торговая

сделка. За несколько медных грошей баба отдаёт «орлу» не только всякую ненужную тряпицу, но часто даже мужнину рубаху и собственную понёву[3]. В последнее время бабы нашли выгодным красть у самих себя и сбывать таким образом пеньку, в особенности «замашки»[4], — важное распространение и усовершенствование промышленности «орлов»! Но зато мужики, в свою очередь, навострились и при малейшем подозрении, при одном отдалённом слухе о появлении «орла» быстро и живо приступают к исправительным и предохранительным мерам. И в самом деле, не обидно ли? Пеньку продавать их дело, и они её точно продают, не в городе, — в город надо самим тащиться, — а приезжим торгашам, которые, за неимением безмена[5], считают пуд в сорок горстей — а вы знаете, что за горсть и что за ладонь у русского человека, особенно когда он «усердствует»!

---

[3] Примечания: 3

Понёва — одежда замужних женщин: верхняя юбка из трёх полотнищ.

[4] Примечания: 4

Зама́шки — мужские растения конопли, из которых делали пряжу.

[5] Примечания: 5

Безме́н — ручные пружинные весы.



Таких рассказов я, человек неопытный и в деревне не «живалый» (как у нас в Орле говорится), наслушался вдоволь. Но Хорь не всё рассказы-

вал, он сам меня расспрашивал о многом. Узнал он, что я бывал за границей, и любопытство его разгорелось… Калиныч от него не отставал; но Калиныча более трогали описания природы, гор, водопадов, необыкновенных зданий, больших городов; Хоря занимали вопросы административные и государственные. Он перебирал всё по порядку: «Что, у них это там есть так же, как у нас, аль иначе?.. Ну, говори, батюшка, — как же?..» — «А! ах, господи, твоя воля!» — восклицал Калиныч во время моего рассказа; Хорь молчал, хмурил густые брови и лишь изредка замечал, что, «дескать, это у нас не шло бы, а вот это хорошо — это порядок». Всех его расспросов я передать вам не могу, да и незачем; но из наших разговоров я вынес одно убежденье, которого, вероятно, никак не ожидают читатели, — убежденье, что Пётр Великий был по преимуществу русский человек, русский именно в своих преобразованиях. Русский человек так уверен в своей силе и крепости, что он не прочь и поломать себя: он мало занимается своим прошедшим и смело глядит вперёд. Что хорошо — то ему и нравится, что разумно — того ему и подавай, а откуда оно идёт, — ему всё равно. Его здравый смысл охотно подтрунит над сухопарым немецким рассуд-

ком; но немцы, по словам Хоря, любопытный народец, и поучиться у них он готов. Благодаря исключительности своего положенья, своей фактической независимости, Хорь говорил со мной о многом, чего из другого рычагом не выворотишь, как выражаются мужики, жёрновом не вымелешь. Он действительно понимал своё положенье. Толкуя с Хорём, я в первый раз услышал простую, умную речь русского мужика. Его познанья были довольно, по-своему, обширны, но читать он не умел; Калиныч — умел. «Этому шалопаю грамота далась, — заметил Хорь, — у него и пчёлы отродясь не мёрли». — «А детей ты своих выучил грамоте?» Хорь помолчал. «Федя знает». — «А другие?» — «Другие не знают». — «А что?» Старик не отвечал и переменил разговор. Впрочем, как он умён ни был, водились и за ним многие предрассудки и предубеждения. Баб он, например, презирал от глубины души, а в весёлый час тешился и издевался над ними. Жена его, старая и сварливая, целый день не сходила с печи и беспрестанно ворчала и бранилась; сыновья не обращали на неё внимания, но невесток она содержала в страхе божием. Недаром в русской песенке свекровь поёт: «Какой ты мне сын, какой семьянин! Не бьёшь ты жены, не бьёшь

молодой...» Я раз было вздумал заступиться за невесток, попытался возбудить сострадание Хоря; но он спокойно возразил мне, что «охота-де вам такими... пустяками заниматься, — пускай бабы ссорятся... Их что разнимать — то хуже, да и рук марать не стоит». Иногда злая старуха слезала с печи, вызывала из сеней дворовую собаку, приговаривая: «Сюды, сюды, собачка!» — и била её по худой спине кочергой или становилась под навес и «лаялась», как выражался Хорь, со всеми проходящими. Мужа своего она, однако же, боялась и, по его приказанию, убиралась к себе на печь. Но особенно любопытно было послушать спор Калиныча с Хорём, когда дело доходило до г-на Полутыкина. «Уж ты, Хорь, у меня его не трогай», — говорил Калиныч. «А что ж он тебе сапогов не сошьёт?» — возражал тот. «Эка, сапоги!.. на что мне сапоги? Я мужик...» — «Да вот и я мужик, а вишь...» При этом слове Хорь поднимал свою ногу и показывал Калинычу сапог, скроенный, вероятно, из мамонтовой кожи. «Эх, да ты разве наш брат!» — отвечал Калиныч. «Ну, хоть бы на лапти дал: ведь ты с ним на охоту ходишь; чай, что день, то лапти». — «Он мне даёт на лапти». — «Да, в прошлом году гривенник пожаловал». Калиныч с досадой отворачивался,

а Хорь заливался смехом, причём его маленькие глазки исчезали совершенно.

Калиныч пел довольно приятно и поигрывал на балалайке. Хорь слушал, слушал его, загибал вдруг голову набок и начинал подтягивать жалобным голосом. Особенно любил он песню «Доля ты моя, доля!». Федя не упускал случая подтрунить над отцом. «Чего, старик, разжалобился?» Но Хорь подпирал щёку рукой, закрывал глаза и продолжал жаловаться на свою долю… Зато, в другое время, не было человека деятельнее его: вечно над чем-нибудь копается — телегу чинит, забор подпирает, сбрую пересматривает. Особенной чистоты он, однако, не придерживался и на мои замечания отвечал мне однажды, что «надо-де избе жильём пахнуть».

— Посмотри-ка, — возразил я ему, — как у Калиныча на пасеке чисто.

— Пчёлы бы жить не стали, батюшка, — сказал он со вздохом.

«А что, — спросил он меня в другой раз, — у тебя своя вотчина есть?» — «Есть». — «Далеко отсюда?» — «Вёрст сто». — «Что же ты, батюшка, живёшь в своей вотчине?» — «Живу». — «А больше, чай, ружьём пробавляешься?» — «Признаться, да». — «И хорошо, батюшка, делаешь; стреляй

себе на здоровье тетеревов да старосту меняй почаще».

На четвёртый день, вечером, г. Полутыкин прислал за мной. Жаль мне было расставаться со стариком. Вместе с Калинычем сел я в телегу. «Ну, прощай, Хорь, будь здоров, — сказал я… — Прощай, Федя». — «Прощай, батюшка, прощай, не забывай нас». Мы поехали; заря только что разгоралась. «Славная погода завтра будет», — заметил я, глядя на светлое небо. «Нет, дождь пойдёт, — возразил мне Калиныч, — утки вон плещутся, да и трава больно сильно пахнет». Мы въехали в кусты. Калиныч запел вполголоса, подпрыгивая на облучке, и всё глядел да глядел на зарю…

На другой день я покинул гостеприимный кров г-на Полутыкина.

Малиновая вода

В начале августа жары часто стоят нестерпимые. В это время, от двенадцати до трёх часов, самый решительный и сосредоточенный человек не в состоянии охотиться и самая преданная собака начинает «чистить охотнику шпоры», то есть идёт за ним шагом, болезненно прищурив глаза и преувеличенно высунув язык, а в ответ на укоризны своего господина униженно виляет хвостом и выражает смущение на лице, но вперёд не подвигается. Именно в такой день случилось мне быть на охоте. Долго противился я искушению прилечь где-нибудь в тени, хоть на мгновение; долго моя неутомимая собака продолжала рыскать по кустам, хотя сама, видимо, ничего не ожидала путного от своей лихорадочной деятельности. Удушливый зной принудил меня наконец подумать о сбережении последних наших сил и способностей. Кое-как дотащился я до речки Исты, уже знакомой моим снисходительным читателям, спустился с кручи и пошёл по жёлтому и сырому песку в направлении ключа, известного во всём околотке под названием «Малиновой воды». Ключ этот бьёт из

расселины берега, превратившейся мало-помалу в небольшой, но глубокий овраг, и в двадцати шагах оттуда с весёлым и болтливым шумом впадает в реку. Дубовые кусты разрослись по скатам оврага; около родника зеленеет короткая, бархатная травка; солнечные лучи почти никогда не касаются его холодной, серебристой влаги. Я добрался до ключа, на траве лежала черпалка из берёсты, оставленная прохожим мужиком на пользу общую. Я напился, прилёг в тень и взглянул кругом. У залива, образованного впадением источника в реку и оттого вечно покрытого мелкой рябью, сидели ко мне спиной два старика. Один, довольно плотный и высокого роста, в тёмно-зелёном опрятном кафтане и пуховом картузе, удил рыбу; другой, худенький и маленький, в мухояровом заплатанном сюртучке и без шапки, держал на коленях горшок с червями и изредка проводил рукой по седой своей головке, как бы желая предохранить её от солнца. Я вгляделся в него попристальнее и узнал в нём шумихинского Стёпушку. Прошу позволения читателя представить ему этого человека.

В нескольких верстах от моей деревни находится большое село Шумихино, с каменною церковью, воздвигнутой во имя преподобных

Козьмы и Дамиана. Напротив этой церкви некогда красовались обширные господские хоромы, окружённые разными пристройками, службами, мастерскими, конюшнями, грунтовыми и каретными сараями, банями и временными кухнями, флигелями для гостей и для управляющих, цветочными оранжереями, качелями для народа и другими, более или менее полезными, зданиями. В этих хоромах жили богатые помещики, и всё у них шло своим порядком, как вдруг, в одно прекрасное утро, вся эта благодать сгорела дотла. Господа перебрались в другое гнездо; усадьба запустела. Обширное пепелище превратилось в огород, кое-где загромождённый грудами кирпичей, остатками прежних фундаментов. Из уцелевших брёвен на скорую руку сколотили избёнку, покрыли её барочным тёсом, купленным лет за десять для построения павильона на готический манер, и поселили в ней садовника Митрофана с женой Аксиньей и семью детьми. Митрофану приказали поставлять на господский стол, за полтораста вёрст, зелень и овощи; Аксинье поручили надзор за тирольской коровой, купленной в Москве за большие деньги, но, к сожалению, лишённой всякой способности воспроизведения и потому со времени приобре-

тения не дававшей молока; ей же на руки отдали хохлатого дымчатого селезня, единственную «господскую» птицу; детям, по причине малолетства, не определили никаких должностей, что, впрочем, нисколько не помешало им совершенно обленившись. У этого садовника мне случилось раза два переночевать; мимоходом забирал я у него огурцы, которые, бог ведает почему, даже летом отличались величиной, дрянным водянистым вкусом и толстой жёлтой кожей. У него-то увидал я впервые Стёпушку. Кроме Митрофана с его семьёй да старого глухого ктитора Герасима, проживавшего Христа ради в каморочке у кривой солдатки, ни одного дворового человека не осталось в Шумихине, потому что Стёпушку, с которым я намерен познакомить читателя, нельзя было считать ни за человека вообще, ни за дворового в особенности.

Всякий человек имеет хоть какое бы то ни было положение в обществе, хоть какие-нибудь да связи; всякому дворовому выдаётся если не жалованье, то, по крайней мере, так называемое «отвесное»: Стёпушка не получал решительно никаких пособий, не состоял в родстве ни с кем, никто не знал о его существовании. У этого человека даже прошедшего не было; о нём не

говорили; он и по ревизии едва ли числился. Ходили тёмные слухи, что состоял он когда-то у кого-то в камерди́нерах; но кто он, откуда он, чей сын, как попал в число шумихинских подданных, каким образом добыл мухояровый, с незапамятных времён носимый им кафтан, где живёт, чем живёт, — об этом решительно никто не имел ни малейшего понятия, да и, правду сказать, никого не занимали эти вопросы. Дедушка Трофимыч, который знал родословную всех дворовых в восходящей линии до четвёртого колена, и тот раз только сказал, что, дескать, помнится, Степану приходится родственницей турчанка, которую покойный барин, бригадир Алексей Романыч, из похода в обозе изволил привезти. Даже, бывало, в праздничные дни, дни всеобщего жалованья и угощения хлебом-солью, гречишными пирогами и зелёным вином, по старинному русскому обычаю, — даже и в эти дни Стёпушка не являлся к выставленным столам и бочкам, не кланялся, не подходил к барской руке, не выпивал духом стакана под господским взглядом и за господское здоровье, — стакана, наполненного жирною рукою приказчика; разве какая добрая душа, проходя мимо, уделит бедняге недоеденный кусок пирога. В светлое воскресе-

нье с ним христосовались, но он не подворачивал замасленного рукава, не доставал из заднего кармана своего красного яичка, не подносил его, задыхаясь и моргая, молодым господам или даже самой барыне. Проживал он летом в клети, позади курятника, а зимой в предбаннике; в сильные морозы ночевал на сеновале. Его привыкли видеть, иногда даже давали ему пинка, но никто с ним не заговаривал, и он сам, кажется, отроду рта не разинул. После пожара этот заброшенный человек приютился, или, как говорят орловцы, «притулился» у садовника Митрофана. Садовник не тронул его, не сказал ему: живи у меня — да и не прогнал его. Стёпушка и не жил у садовника: он обитал, витал на огороде. Ходил он и двигался без всякого шуму; чихал и кашлял в руку, не без страха; вечно хлопотал и возился втихомолку, словно муравей — и всё для еды, для одной еды. И точно, не заботься он с утра до вечера о своём пропитании, — умер бы мой Стёпушка с голоду. Плохое дело не знать поутру, чем к вечеру сыт будешь! То под забором Стёпушка сидит и редьку гложет, или морковь сосёт, или грязный кочан капусты под себя крошит; то ведро с водой куда-то тащит и кряхтит; то под горшочком огонёк раскладывает и какие-то чёрные кусочки из-за

пазухи в горшок бросает; то у себя в чуланчике деревяшкой постукивает, гвоздик приколачивает, полочку для хлебца устроивает. И всё это он делает молча, словно из-за угла: глядь, уж и спрятался. А то вдруг отлучится дня на два; его отсутствия, разумеется, никто не замечает… Смотришь, уж он опять тут, опять где-нибудь около забора под таганчик щепочки украдкой подкладывает. Лицо у него маленькое, глазки жёлтенькие, волосы вплоть до бровей, носик остренький, уши пребольшие, прозрачные, как у летучей мыши, борода словно две недели тому назад выбрита, и никогда ни меньше не бывает, ни больше. Вот этого-то Стёпушку я встретил на берегу Исты в обществе другого старика.



Я подошёл к ним, поздоровался и присел с ними рядом. В товарище Стёпушки я узнал тоже знакомого: это был вольноотпущенный человек графа Петра Ильича ***, Михайло Савельев, по

прозвищу Туман. Он проживал у болховского чахоточного мещанина, содержателя постоялого двора, где я довольно часто останавливался. Проезжающие по большой орловской дороге молодые чиновники и другие незанятые люди (купцам, погружённым в свои полосатые перины, не до того) до сих пор ещё могут заметить в недальнем расстоянии от большого села Троицкого огромный деревянный дом в два этажа, совершенно заброшенный, с провалившейся крышей и наглухо забитыми окнами, выдвинутый на самую дорогу. В полдень, в ясную, солнечную погоду, ничего нельзя вообразить печальнее этой развалины. Здесь некогда жил граф Пётр Ильич, известный хлебосол, богатый вельможа старого века. Бывало, вся губерния съезжалась у него, плясала и веселилась на славу, при оглушительном громе доморощенной музыки, трескотне бураков и римских свечей; и, вероятно, не одна старушка, проезжая теперь мимо запустелых боярских палат, вздохнёт и вспомянет минувшие времена и минувшую молодость. Долго пировал граф, долго расхаживал, приветливо улыбаясь, в толпе подобострастных гостей; но именья его, к несчастию, не хватило на целую жизнь. Разорившись кругом, отправился он в Петербург

искать себе места и умер в нумере гостиницы, не дождавшись никакого решения. Туман служил у него дворецким и ещё при жизни графа получил отпускную. Это был человек лет семидесяти, с лицом правильным и приятным. Улыбался он почти постоянно, как улыбаются теперь одни люди екатерининского времени: добродушно и величаво; разговаривая, медленно выдвигал и сжимал губы, ласково щурил глаза и произносил слова несколько в нос. Сморкался и нюхал табак он тоже не торопясь, словно дело делал.

— Ну, что, Михайло Савельич, — начал я, — наловил рыбы?

— А вот извольте в плетушку заглянуть: двух окуньков залучил да головликов штук пять… Покажь, Стёпа.

Стёпушка протянул ко мне плетушку.

— Как ты поживаешь, Степан? — спросил я его.

— И… и… и… ни… ничего-о, батюшка, помаленьку, — отвечал Степан, запинаясь, словно пуды языком ворочал.

— А Митрофан здоров?

— Здоров, ка… как же, батюшка.

Бедняк отвернулся.

— Да плохо что-то клюёт, — заговорил Туман, — жарко больно; рыба-то вся под кусты забилась,

спит… Надень-ко червяка, Стёпа. (Стёпушка достал червяка, положил на ладонь, хлопнул по нём раза два, надел на крючок, поплевал и подал Туману.) Спасибо, Стёпа… А вы, батюшка, — продолжал он, обращаясь ко мне, — охотиться изволите?

— Как видишь.

— Так-с… А что это у вас пёсик аглицкий али фурлянский какой?

Старик любил при случае показать себя: дескать, и мы живали в свете!

— Не знаю, какой он породы, а хорош.

— Так-с… А с собаками изволите ездить?

— Своры две у меня есть.

Туман улыбнулся и покачал головой.

— Оно точно: иной до собак охотник, а иному их даром не нужно. Я так думаю, по простому моему разуму: собак больше для важности, так сказать, держать следует… И чтобы всё уж и было в порядке: и лошади чтоб были в порядке, и псари как следует, в порядке, и всё. Покойный граф — царство ему небесное! — охотником отродясь, признаться, не бывал, а собак держал и раза два в год выезжать изволил. Соберутся псари на дворе в красных кафтанах с галунами и в трубу протрубят; их сиятельство выйти изволят, и коня

их сиятельству подведут; их сиятельство сядут, а главный ловчий им ножки в стремена вденет, шапку с головы снимет и поводья в шапке подаст. Их сиятельство арапельником этак изволят щёлкнуть, а псари загогочут, да и двинутся со двора долой. Стремянный-то за графом поедет, а сам на шёлковой сворке двух любимых барских собачек держит и этак наблюдает, знаете… И сидит-то он, стремянный-то, высоко, высоко, на казацком седле, краснощёкий такой, глазищами так и водит… Ну, и гости, разумеется, при этом случае бывают. И забава, и почёт соблюдён… Ах, сорвался, азиятец! — прибавил он вдруг, дёрнув удочкой.

— А что, говорят, граф таки пожил на своём веку? — спросил я.

Старик поплевал на червяка и закинул удочку.

— Вельможественный был человек, известно-с. К нему, бывало, первые, можно сказать, особы из Петербурга заезжали. В голубых лентах, бывало, за столом сидят и кушают. Ну, да уж и угощать был мастер. Призовёт, бывало, меня: «Туман, говорит, мне к завтрашнему числу живых стерлядей требуется: прикажи достать, слышишь?» — «Слушаю, ваше сиятельство». Кафтаны шитые, парики, трости, духи, ладеколон первого сорта,

табакерки, картины этакие большущие, из самого Парижа выписывал. Задаст банкет, — господи, владыко живота моего! фейвирки пойдут, катанья! Даже из пушек палят. Музыкантов одних сорок человек налицо состояло. Кампельмейстера из немцев держал, да зазнался больно немец; с господами за одним столом кушать захотел; так и велели их сиятельство прогнать его с богом: у меня и так, говорит, музыканты своё дело понимают. Известно: господская власть. Плясать пустятся — до зари пляшут, и всё больше лакосез-матрадура… Э… э… э… попался, брат! (Старик вытащил из воды небольшого окуня.) На-ко, Стёпа. Барин был, как следует, барин, — продолжал старик, закинув опять удочку, — и душа была тоже добрая. Побьёт, бывало, тебя — смотришь, уж и позабыл. Одно: матресок держал. Ох, уж эти матрески, прости господи! Оне-то его и разорили. И ведь всё больше из низкого сословия выбирал. Кажись, чего бы им ещё? Так нет, подавай им что ни на есть самого дорогого в целой Европии! И то сказать: почему не пожить в своё удовольствие, — дело господское… да разоряться-то не след. Особенно одна: Акулиной её называли; теперь она покойница, — царство ей небесное! Девка была простая, ситовского десятского дочь,

да такая злющая! По щекам, бывало, графа бьёт. Околдовала его совсем. Племяннику моему лоб забрила: на новое платье щеколат ей обронил… и не одному ему забрила лоб. Да… А всё-таки хорошее было времечко! — прибавил старик с глубоким вздохом, потупился и умолк.

— А барин-то, я вижу, у вас был строг? — начал я после небольшого молчания.

— Тогда это было во вкусе, батюшка, — возразил старик, качнув головой.

— Теперь уж этого не делается, — заметил я, не спуская с него глаз.

Он посмотрел на меня сбоку.

— Теперь, вестимо, лучше, — пробормотал он — и далеко закинул удочку.

Мы сидели в тени; но и в тени было душно. Тяжёлый, знойный воздух словно замер; горячее лицо с тоской искало ветра, да ветра-то не было. Солнце так и било с синего, потемневшего неба; прямо перед нами, на другом берегу, желтело овсяное поле, кое-где проросшее полынью, и хоть бы один колос пошевельнулся. Немного пониже крестьянская лошадь стояла в реке по колени и лениво обмахивалась мокрым хвостом; изредка под нависшим кустом всплывала большая рыба, пускала пузыри и тихо погружалась на дно, оста-

вив за собою лёгкую зыбь. Кузнечики трещали в порыжелой траве; перепела кричали как бы нехотя; ястреба плавно носились над полями и часто останавливались на месте, быстро махая крыльями и распустив хвост веером. Мы сидели неподвижно, подавленные жаром. Вдруг, позади нас, в овраге раздался шум: кто-то спускался к источнику. Я оглянулся и увидал мужика лет пятидесяти, запылённого, в рубашке, в лаптях, с плетёной котомкой и армяком за плечами. Он подошёл к ключу, с жадностию напился и приподнялся.

— Э, Влас? — вскрикнул Туман, вглядевшись в него. — Здорово, брат. Откуда бог принёс?

— Здорово, Михайла Савельич, — проговорил мужик, подходя к нам, — издалеча.

— Где пропадал? — спросил его Туман.

— А в Москву сходил, к барину.

— Зачем?

— Просить его ходил.

— О чём просить?

— Да чтоб оброку сбавил аль на барщину посадил, переселил, что ли… Сын у меня умер, — так мне одному теперь не справиться.

— Умер твой сын?

— Умер. Покойник, — прибавил мужик, по-

молчав, — у меня в Москве в извозчиках жил; за меня, признаться, и оброк взносил.

— Да разве вы теперь на оброке?

— На оброке.

— Что ж твой барин?

— Что барин? Прогнал меня. Говорит, как смеешь прямо ко мне идти: на то есть приказчик; ты, говорит, сперва приказчику обязан донести… да и куда я тебя переселю? Ты, говорит, сперва недоимку за себя взнеси. Осерчал вовсе.

— Ну, что ж, ты и пошёл назад?

— И пошёл. Хотел было справиться, не оставил ли покойник какого по себе добра, да толку не добился. Я хозяину-то его говорю: «Я, мол, Филиппов отец»; а он мне говорит: «А я почём знаю? Да и сын твой ничего, говорит, не оставил; ещё у меня в долгу». Ну, я и пошёл.

Мужик рассказывал нам всё это с усмешкой, словно о другом речь шла; но на маленькие и съёженные его глазки навёртывалась слезинка, губы его подёргивало.

— Что ж ты, теперь домой идёшь?

— А то куда? Известно, домой. Жена, чай, теперь с голоду в кулак свистит.

— Да ты бы… того… — заговорил внезапно Стёпушка, смешался, замолчал и принялся копаться

в горшке.

— А к приказчику пойдёшь? — продолжал Туман, не без удивления взглянув на Стёпу.

— Зачем я к нему пойду?.. За мной и так недоимка. Сын-то у меня перед смертию с год хворал, так и за себя оброку не взнёс… Да мне с полугоря: взять-то с меня нечего… Уж, брат, как ты там ни хитри, — шалишь: безответная моя голова! (Мужик рассмеялся.) Уж он там как ни мудри, Кинтильян-то Семёнович, а уж…

Влас опять засмеялся.

— Что ж? Это плохо, брат Влас, — с расстановкой произнёс Туман.

— А чем плохо? Не… (У Власа голос прервался.) Эка жара стоит, — продолжал он, утирая лицо рукавом.

— Кто ваш барин? — спросил я.

— Граф ***, Валериан Петрович.

— Сын Петра Ильича?

— Петра Ильича сын, — отвечал Туман. — Пётр Ильич, покойник, Власову-то деревню ему при жизни уделил.

— Что, он здоров?

— Здоров, слава богу, — возразил Влас. — Красный такой стал, лицо словно обложилось.

— Вот, батюшка, — продолжал Туман, обраща-

ясь ко мне, — добро бы под Москвой, а то здесь на оброк посадил.

— А почём с тягла?

— Девяносто пять рублев с тягла, — пробормотал Влас.

— Ну вот, видите; а земли самая малость, только и есть что господский лес.

— Да и тот, говорят, продали, — заметил мужик.

— Ну, вот видите… Стёпа, дай-ка червяка… А, Стёпа? Что ты, заснул, что ли?

Стёпушка встрепенулся. Мужик подсел к нам. Мы опять приумолкли. На другом берегу кто-то затянул песню, да такую унылую… Пригорюнился мой бедный Влас…

Через полчаса мы разошлись.

Уездный лекарь

Однажды осенью, на возвратном пути с отъезжего поля, я простудился и занемог. К счастью, лихорадка застигла меня в уездном городе, в гостинице; я послал за доктором. Через полчаса явился уездный лекарь, человек небольшого роста, худенький и черноволосый. Он прописал мне обычное потогонное, велел приставить горчичник, весьма ловко запустил к себе под обшлаг пятирублёвую бумажку, причём, однако, сухо кашлянул и глянул в сторону, и уже совсем было собрался отправиться восвояси, да как-то разговорился и остался. Жар меня томил; я предвидел бессонную ночь и рад был поболтать с добрым человеком. Подали чай. Пустился мой доктор в разговоры. Малый он был неглупый, выражался бойко и довольно забавно. Странные дела случаются на свете: с иным человеком и долго живёшь вместе и в дружественных отношениях находишься, а ни разу не заговоришь с ним откровенно, от души; с другим же едва познакомиться успеешь — глядь, либо ты ему, либо он тебе, словно на исповеди, всю подноготную и проболтал. Не знаю, чем я заслужил доверенность моего нового

приятеля, — только он, ни с того, ни с сего, как говорится, «взял» да и рассказал мне довольно замечательный случай; а я вот и довожу теперь его рассказ до сведения благосклонного читателя. Я постараюсь выражаться словами лекаря.

— Вы не изволите знать, — начал он расслабленным и дрожащим голосом (таково действие беспримесного берёзовского табаку), — вы не изволите знать здешнего судью, Мылова, Павла Лукича?.. Не знаете... Ну, всё равно. (Он откашлялся и протёр глаза.) Вот, изволите видеть, дело было этак, как бы вам сказать — не солгать, в великий пост, в самую ростепель. Сижу я у него, у нашего судьи, и играю в преферанс. Судья у нас хороший человек и в преферанс играть охотник. Вдруг (мой лекарь часто употреблял слово «вдруг») говорят мне: человек ваш вас спрашивает. Я говорю: что ему надобно? Говорят, записку принёс, — должно быть, от больного. Подай, говорю, записку. Так и есть: от больного... Ну, хорошо, — это, понимаете, наш хлеб... Да вот в чём дело: пишет ко мне помещица, вдова; говорит, дескать, дочь умирает, приезжайте, ради самого господа бога нашего, и лошади, дескать, за вами присланы. Ну, это ещё всё ничего... Да живёт-то она в двадцати верстах от города, а ночь на дворе,

и дороги такие, что фа! Да и сама беднеющая, больше двух целковых ожидать тоже нельзя, и то ещё сумнительно, а разве холстом придётся попользоваться да крупицами какими-нибудь. Однако долг, вы понимаете, прежде всего: человек умирает. Передаю вдруг карты непременному члену Каллиопину и отправляюсь домой. Гляжу: стоит тележчонка перед крыльцом; лошади крестьянские — пузатые-препузатые, шерсть на них — войлоко настоящее, и кучер, ради уваженья, без шапки сидит. Ну, думаю, видно, брат, господа-то твои не на золоте едят… Вы изволите смеяться, а я вам скажу: наш брат, бедный человек, всё в соображенье принимай… Коли кучер сидит князем, да шапки не ломает, да ещё посмеивается из-под бороды, да кнутиком шевелит — смело бей на две депозитки! А тут, вижу, дело-то не тем пахнет. Однако, думаю, делать нечего: долг прежде всего. Захватываю самонужнейшие лекарства и отправляюсь. Поверите ли, едва дотащился. Дорога адская: ручьи, снег, грязь, водомоины, а там вдруг плотину прорвало — беда! Однако приезжаю. Домик маленький, соломой крыт. В окнах свет: знать, ждут. Вхожу. Навстречу мне старушка почтённая такая, в чепце. «Спасите, говорит, умирает». Я говорю: «Не извольте беспо-

коиться… Где больная?» — «Вот сюда пожалуйте». Смотрю: комнатка чистенькая, в углу лампада, на постеле девица лет двадцати, в беспамятстве. Жаром от неё так и пышет, дышит тяжело — горячка. Тут же другие две девицы, сёстры, — перепуганы, в слезах. «Вот, говорят, вчера была совершенно здорова и кушала с аппетитом; поутру сегодня жаловалась на голову, а к вечеру вдруг вот в каком положении…» Я опять-таки говорю: «Не извольте беспокоиться», — докторская, знаете, обязанность, — и приступил. Кровь ей пустил, горчичники поставить велел, микстурку прописал. Между тем я гляжу на неё, гляжу, знаете, — ну, ей-богу, не видал ещё такого лица… красавица, одним словом! Жалость меня так и разбирает. Черты такие приятные, глаза… Вот, слава богу, успокоилась; пот выступил, словно опомнилась; кругом поглядела, улыбнулась, рукой по лицу провела… Сёстры к ней нагнулись, спрашивают: «Что с тобою?» — «Ничего», — говорит, да и отворотилась… Гляжу — заснула. Ну, говорю, теперь следует больную в покое оставить. Вот мы все на цыпочках и вышли вон; горничная одна осталась на всякий случай. А в гостиной уж самовар на столе, и ямайский тут же стоит: в нашем деле без этого нельзя. Подали

мне чай, просят остаться ночевать… Я согласился: куда теперь ехать! Старушка всё охает. «Чего вы? — говорю. — Будет жива, не извольте беспокоиться, а лучше отдохните-ка сами: второй час». — «Да вы меня прикажете разбудить, коли что случится?» — «Прикажу, прикажу». Старушка отправилась, и девицы также пошли к себе в комнату; мне постель в гостиной постлали. Вот я лёг, — только не могу заснуть, — что за чудеса! Уж на что, кажется, намучился. Всё моя больная у меня с ума нейдёт. Наконец не вытерпел, вдруг встал; думаю, пойду посмотрю, что делает пациент? А спальня-то её с гостиной рядом. Ну, встал, растворил тихонько дверь, а сердце так и бьётся. Гляжу: горничная спит, рот раскрыла и храпит даже, бестия! а больная лицом ко мне лежит и руки разметала, бедняжка! Я подошёл… Как она вдруг раскроет глаза и уставится на меня!.. «Кто это? кто это?» Я сконфузился. «Не пугайтесь, говорю, сударыня: я доктор, пришёл посмотреть, как вы себя чувствуете». — «Вы доктор?» — «Доктор, доктор… Матушка ваша за мною в город посылали; мы вам кровь пустили, сударыня; теперь извольте почивать, а дня этак через два мы вас, даст бог, на ноги поставим». — «Ах, да, да, доктор, не дайте мне умереть… пожалуйста,

пожалуйста». — «Что вы это, бог с вами!» А у ней опять жар, думаю я про себя; пощупал пульс: точно, жар. Она посмотрела на меня — да как возьмёт меня вдруг за руку. «Я вам скажу, почему мне не хочется умереть, я вам скажу, я вам скажу… теперь мы одни; только вы, пожалуйста, никому… послушайте…» Я нагнулся; придвинула она губы к самому моему уху, волосами щёку мою трогает, — признаюсь, у меня самого кругом пошла голова, — и начала шептать… Ничего не понимаю… Ах, да это она бредит… Шептала, шептала, да так проворно и словно не по-русски, кончила, вздрогнула, уронила голову на подушку и пальцем мне погрозилась. «Смотрите же, доктор, никому…» Кое-как я её успокоил, дал ей напиться, разбудил горничную и вышел.

Тут лекарь опять с ожесточеньем понюхал табаку и на мгновение оцепенел.

— Однако, — продолжал он, — на другой день больной, в противность моим ожиданиям, не полегчило. Я подумал, подумал и вдруг решился остаться, хотя меня другие пациенты ожидали… А вы знаете, этим неглижировать нельзя: практика от этого страдает. Но, во-первых, больная действительно находилась в отчаянии; а во-вторых, надо правду сказать, я сам чувствовал сильное к

ней расположение. Притом же и всё семейство мне нравилось. Люди они были хоть и неимущие, но образованные, можно сказать, на редкость… Отец-то у них был человек учёный, сочинитель; умер, конечно, в бедности, но воспитание детям успел сообщить отличное; книг тоже много оставил. Потому ли, что хлопотал-то я усердно около больной, по другим ли каким-либо причинам, только меня, смею сказать, полюбили в доме, как родного… Между тем распутица сделалась страшная: все сообщения, так сказать, прекратились совершенно; даже лекарство с трудом из города доставлялось… Больная не поправлялась… День за день, день за день… Но вот-с… тут-с… (Лекарь помолчал.) Право, не знаю, как бы вам изложить-с… (Он снова понюхал табаку, крякнул и хлебнул глоток чаю.) Скажу вам без обиняков, больная моя… как бы это того… ну, полюбила, что ли, меня… или нет, не то чтобы полюбила… а впрочем… право, как это, того-с… (Лекарь потупился и покраснел.)

— Нет, — продолжал он с живостью, — какое полюбила! Надо себе наконец цену знать. Девица она была образованная, умная, начитанная, а я даже латынь-то свою позабыл, можно сказать, совершенно. Насчёт фигуры (лекарь с улыбкой

взглянул на себя) также, кажется, нечем хвастаться. Но дураком господь бог тоже меня не уродил: я белое чёрным не назову; я кое-что тоже смекаю. Я, например, очень хорошо понял, что Александра Андреевна — её Александрой Андреевной звали — не любовь ко мне почувствовала, а дружеское, так сказать, расположение, уважение, что ли. Хотя она сама, может быть, в этом отношении ошибалась, да ведь положение её было какое, вы сами рассудите… Впрочем, — прибавил лекарь, который все эти отрывистые речи произнёс, не переводя духа и с явным замешательством, — я, кажется, немного зарапортовался… Этак вы ничего не поймёте… а вот, позвольте, я вам всё по порядку расскажу.

Он допил стакан чаю и заговорил голосом более спокойным.

— Так, так-то-с. Моей больной всё хуже становилось, хуже, хуже. Вы не медик, милостивый государь; вы понять не можете, что происходит в душе нашего брата, особенно на первых порах, когда он начинает догадываться, что болезнь-то его одолевает. Куда денется самоуверенность! Оробеешь вдруг так, что и сказать нельзя. Так тебе и кажется, что и позабыл-то ты всё, что знал, и что больной-то тебе больше не доверяет, и что

другие уже начинают замечать, что ты потерялся, и неохотно симптомы тебе сообщают, исподлобья глядят, шепчутся… э, скверно! Ведь есть же лекарство, думаешь, против этой болезни, стоит только найти. Вот не оно ли? Попробуешь — нет, не оно! Не даёшь времени лекарству как следует подействовать… то за то хватишься, то за то. Возьмёшь, бывало, рецептурную книгу… ведь тут оно, думаешь, тут! Право слово, иногда наобум раскроешь: авось, думаешь, судьба… А человек меж тем умирает; а другой бы его лекарь спас. Консилиум, говоришь, нужен; я на себя ответственности не беру. А уж каким дураком в таких случаях глядишь! Ну, со временем обтерпишься, ничего. Умер человек — не твоя вина: ты по правилам поступал. А то вот что ещё мучительно бывает: видишь доверие к тебе слепое, а сам чувствуешь, что не в состоянии помочь. Вот именно такое доверие всё семейство Александры Андреевны ко мне возымело: и думать позабыли, что у них дочь в опасности. Я их тоже, со своей стороны, уверяю, что ничего, дескать, а у самого душа в пятки уходит. К довершению несчастия, такая подошла распутица, что за лекарством по целым дням, бывало, кучер ездит. А я из комнаты больной не выхожу, оторваться не могу, разные,

знаете, смешные анекдотцы рассказываю, в карты с ней играю. Ночи просиживаю. Старушка меня со слезами благодарит; а я про себя думаю: «Не стою я твоей благодарности». Признаюсь вам откровенно — теперь не для чего скрываться — влюбился я в мою больную. И Александра Андреевна ко мне привязалась: никого, бывало, к себе в комнату, кроме меня, не пускает. Начнёт со мной разговаривать, — расспрашивает меня, где я учился, как живу, кто мои родные, к кому я езжу? И чувствую я, что не след ей разговаривать; а запретить ей, решительно этак, знаете, запретить — не могу. Схвачу, бывало, себя за голову: «Что ты делаешь, разбойник?..» А то возьмёт меня за руку и держит, глядит на меня, долго, долго глядит, отвернётся, вздохнёт и скажет: «Какой вы добрый!» Руки у ней такие горячие, глаза большие, томные. «Да, говорит, вы добрый, вы хороший человек, вы не то, что наши соседи... нет, вы не такой, вы не такой... Как это я до сих пор вас не знала!» — «Александра Андреевна, успокойтесь, говорю... я, поверьте, чувствую, я не знаю, чем заслужил... только вы успокойтесь, ради бога, успокойтесь... всё хорошо будет, вы будете здоровы». А между тем, должен я вам сказать, — прибавил лекарь, нагнувшись вперёд и

подняв кверху брови, — что с соседями они мало водились оттого, что мелкие им не под стать приходились, а с богатыми гордость запрещала знаться. Я вам говорю: чрезвычайно образованное было семейство, — так мне, знаете, и лестно было. Из одних моих рук лекарство принимала… приподнимется, бедняжка, с моею помощью, примет и взглянет на меня… сердце у меня так и покатится. А между тем ей всё хуже становилось, всё хуже: умрёт, думаю, непременно умрёт. Поверите ли, хоть самому в гроб ложиться; а тут мать, сёстры наблюдают, в глаза мне смотрят… и доверие проходит. «Что? Как?» — «Ничего-с, ничего-с!» А какое ничего-с, ум мешается. Вот-с, сижу я однажды ночью, один опять, возле больной. Девка тут тоже сидит и храпит во всю ивановскую… Ну, с несчастной девки взыскать нельзя: затормошилась и она. Александра-то Андреевна весьма нехорошо себя весь вечер чувствовала; жар её замучил. До самой полуночи всё металась; наконец словно заснула; по крайней мере, не шевелится, лежит. Лампада в углу перед образом горит. Я сижу, знаете, потупился, дремлю тоже. Вдруг, словно меня кто под бок толкнул, обернулся я… Господи, боже мой! Александра Андреевна во все глаза на меня глядит… губы раскрыты,

щёки так и горят. «Что с вами?» — «Доктор, ведь я умру?» — «Помилуй бог!» — «Нет, доктор, нет, пожалуйста, не говорите мне, что я буду жива… не говорите… если б вы знали… послушайте, ради бога не скрывайте от меня моего положения! — А сама так скоро дышит. — Если я буду знать наверное, что я умереть должна… я вам тогда всё скажу, всё!» — «Александра Андреевна, помилуйте!» — «Послушайте, ведь я не спала нисколько, я давно на вас гляжу… ради бога… я вам верю, вы человек добрый, вы честный человек, заклинаю вас всем, что есть святого на свете, — скажите мне правду! Если б вы знали, как это для меня важно… Доктор, ради бога скажите, я в опасности?» — «Что я вам скажу, Александра Андреевна, — помилуйте!» — «Ради бога, умоляю вас!» — «Не могу скрыть от вас, Александра Андреевна, — вы точно в опасности, но бог милостив…» — «Я умру, я умру…» И она словно обрадовалась, лицо такое весёлое стало; я испугался. «Да не бойтесь, не бойтесь, меня смерть нисколько не стращает». Она вдруг приподнялась и опёрлась на локоть. «Теперь… ну, теперь я могу вам сказать, что я благодарна вам от всей души, что вы добрый, хороший человек, что я вас люблю…» Я гляжу на неё, как шальной; жутко мне, знаете… «Слышите ли, я

люблю вас…» — «Александра Андреевна, чем же я заслужил!» — «Нет, нет, вы меня не понимаете… ты меня не понимаешь…» И вдруг она протянула руки, схватила меня за голову и поцеловала… Поверите ли, я чуть-чуть не закричал… бросился на колени и голову в подушки спрятал. Она молчит; пальцы её у меня на волосах дрожат; слышу: плачет. Я начал её утешать, уверять… я уж, право, не знаю, что я такое ей говорил. «Девку, говорю, разбудите, Александра Андреевна… благодарю вас… верьте… успокойтесь». — «Да полно же, полно, — твердила она. — Бог с ними со всеми; ну, проснутся, ну, придут — всё равно ведь умру же я… Да и ты чего робеешь, чего боишься? Подними голову… Или вы, может быть, меня не любите, может быть, я обманулась… в таком случае извините меня». — «Александра Андреевна, что вы говорите?.. я люблю вас, Александра Андреевна». Она взглянула мне прямо в глаза, раскрыла руки. «Так обними же меня…» Скажу вам откровенно: я не понимаю, как я в ту ночь с ума не сошёл. Чувствую я, что больная моя себя губит; вижу, что не совсем она в памяти; понимаю также и то, что не почитай она себя при смерти, — не подумала бы она обо мне; а то ведь, как хотите, жутко умирать в двадцать пять лет, никого не любивши: ведь

вот что её мучило, вот отчего она, с отчаянья, хоть за меня ухватилась, — понимаете теперь? Ну не выпускает она меня из своих рук. «Пощадите меня, Александра Андреевна, да и себя пощадите, говорю». — «К чему, говорит, чего жалеть? Ведь должна же я умереть…» Это она беспрестанно повторяла. «Вот если бы я знала, что я в живых останусь и опять в порядочные барышни попаду, мне бы стыдно было, точно стыдно… а то что?» — «Да кто вам сказал, что вы умрёте?» — «Э, нет, полно, ты меня не обманешь, ты лгать не умеешь, посмотри на себя». — «Вы будете живы, Александра Андреевна, я вас вылечу; мы испросим у вашей матушки благословение… мы соединимся узами, мы будем счастливы». — «Нет, нет, я с вас слово взяла, я должна умереть… ты мне обещал… ты мне сказал…» Горько было мне, по многим причинам горько. И посудите, вот какие иногда приключаются вещицы: кажется, ничего, а больно. Вздумалось ей спросить меня, как моё имя, то есть не фамилия, а имя. Надо же несчастье такое, что меня Трифоном зовут. Да-с, да-с; Трифоном, Трифоном Иванычем. В доме-то меня все доктором звали. Я, делать нечего, говорю: «Трифон, сударыня». Она прищурилась, покачала головой и прошептала что-то по-французски, — ох, да

недоброе что-то, — и засмеялась потом, нехорошо тоже. Вот этак-то я почти всю ночь провёл с ней. Поутру вышел, словно угорелый; вошёл к ней опять в комнату уже днём, после чаю. Боже мой, боже мой! Узнать её нельзя: краше в гроб кладут. Честью вам клянусь, не понимаю теперь, не понимаю решительно, как я эту пытку выдержал. Три дня, три ночи ещё проскрыпела моя больная… и какие ночи! Что она мне говорила!.. А в последнюю-то ночь, вообразите вы себе, — сижу я подле неё и уж об одном бога прошу: прибери, дескать, её поскорей, да и меня тут же… Вдруг старушка мать — шасть в комнату… Уж я ей накануне сказал, матери-то, что мало, дескать, надежды, плохо, и священника не худо бы. Больная, как увидела мать, и говорит: «Ну вот, хорошо, что пришла… посмотри-ка на нас, мы друг друга любим, мы друг другу слово дали». — «Что это она, доктор, что она?» Я помертвел. «Бредит-с, говорю, жар…» А она-то: «Полно, полно, ты мне сейчас совсем другое говорил, и кольцо от меня принял… что притворяешься? Мать моя добрая, она простит, она поймёт, а я умираю — мне не к чему лгать; дай мне руку…» Я вскочил и вон выбежал. Старушка, разумеется, догадалась.

— Не стану я вас, однако, долее томить, да и мне

самому, признаться, тяжело всё это припоминать. Моя больная на другой же день скончалась. Царство ей небесное (прибавил лекарь скороговоркой и со вздохом)! Перед смертью попросила она своих выйти и меня наедине с ней оставить. «Простите меня, говорит, я, может быть, виновата перед вами… болезнь… но, поверьте, я никого не любила более вас… не забывайте же меня… берегите моё кольцо…»

Лекарь отвернулся; я взял его за руку.

— Эх! — сказал он. — Давайте-ка о чём-нибудь другом говорить, или не хотите ли в преферансик по маленькой? Нашему брату, знаете ли, не след таким возвышенным чувствованиям предаваться. Наш брат думай об одном: как бы дети не пищали да жена не бранилась. Ведь я с тех пор в законный, как говорится, брак вступить успел… Как же… Купеческую дочь взял: семь тысяч приданого. Зовут её Акулиной; Трифону-то под стать. Баба, должен я вам сказать, злая, да благо спит целый день… А что ж преферанс?

Мы сели в преферанс по копейке. Трифон Иваныч выиграл у меня два рубля с полтиной — и ушёл поздно, весьма довольный своей победой.

Льгов

— Поедемте-ка в Льгов, — сказал мне однажды уже известный читателям Ермолай, — мы там уток настреляем вдоволь.

Хотя для настоящего охотника дикая утка не представляет ничего особенно пленительного, но за неименьем пока другой дичи (дело было в начале сентября: вальдшнепы ещё не прилетали, а бегать по полям за куропатками мне надоело), я послушался моего охотника и отправился в Льгов.

Льгов — большое степное село с весьма древней каменной одноглавой церковью и двумя мельницами на болотистой речке Росоте. Эта речка вёрст за пять от Льгова превращается в широкий пруд, по краям и кое-где посередине заросший густым тростником, по-орловскому — майером. На этом-то пруде, в заводях или затишьях между тростниками, выводилось и держалось бесчисленное множество уток всех возможных пород: кряковых, полукряковых, шилохвостых, чирков, нырков и пр. Небольшие стаи то и дело перелётывали и носились над водою, а от выстрела поднимались такие тучи, что охотник невольно

хватался одной рукой за шапку и протяжно говорил: «фу-у!» Мы пошли было с Ермолаем вдоль пруда, но, во-первых, у самого берега утка, птица осторожная, не держится; во-вторых, если даже какой-нибудь отсталый и неопытный чирок и подвергался нашим выстрелам и лишался жизни, то достать его из сплошного майера наши собаки не были в состоянии: несмотря на самое благородное самоотвержение, они не могли ни плавать, ни ступать по дну и только даром резали свои драгоценные носы об острые края тростников.

— Нет, — промолвил наконец Ермолай, — дело неладно: надо достать лодку… Пойдёмте назад в Льгов.

Мы пошли. Не успели мы ступить несколько шагов, как нам навстречу из-за густой ракиты выбежала довольно дрянная легавая собака, и вслед за ней появился человек среднего роста, в синем сильно потёртом сюртуке, желтоватом жилете, панталонах цвета гри-де-лень или блё-д-амур, наскоро засунутых в дырявые сапоги, с красным платком на шее и одноствольным ружьём за плечами. Пока наши собаки, с обычным, их породе свойственным, китайским церемониалом, снюхивались с новой для них личностью, которая, видимо, трусила, поджимала хвост, закидывала

уши и быстро перевёртывалась всем телом, не сгибая коленей и скаля зубы, незнакомец подошёл к нам и чрезвычайно вежливо поклонился. Ему на вид было лет двадцать пять; его длинные русые волосы, сильно пропитанные квасом, торчали неподвижными косицами, — небольшие карие глазки приветливо моргали, — всё лицо, повязанное чёрным платком, словно от зубной боли, сладостно улыбалось.

— Позвольте себя рекомендовать, — начал он мягким и вкрадчивым голосом, — я здешний охотник Владимир… Услышав о вашем прибытии и узнав, что вы изволили отправиться на берега нашего пруда, решился, если вам не будет противно, предложить вам свои услуги.

Охотник Владимир говорил, ни дать ни взять, как провинциальный молодой актёр, занимающий роли первых любовников. Я согласился на его предложение и, не дойдя ещё до Льгова, уже успел узнать его историю. Он был вольноотпущенный дворовый человек; в нежной юности обучался музыке, потом служил камердинером, знал грамоте, почитывал, сколько я мог заметить, кое-какие книжонки и, живя теперь, как многие живут на Руси, без гроша наличного, без постоянного занятия, питался только что не

манной небесной. Выражался он необыкновенно изящно и, видимо, щеголял своими манерами; волокита тоже, должно быть, был страшный и, по всем вероятиям, успевал: русские девушки любят красноречие. Между прочим, он мне дал заметить, что посещает иногда соседних помещиков, и в город ездит в гости, и в преферанс играет, и со столичными людьми знается. Улыбался он мастерски и чрезвычайно разнообразно: особенно шла к нему скромная, сдержанная улыбка, которая играла на его губах, когда он внимал чужим речам. Он вас выслушивал, он соглашался с вами совершенно, но всё-таки не терял чувства собственного достоинства и как будто хотел вам дать знать, что и он может, при случае, изъявить своё мнение. Ермолай, как человек не слишком образованный и уже вовсе не «субтильный», начал было его «тыкать». Надо было видеть, с какой усмешкой Владимир говорил ему: «Вы-с…»

— Зачем вы повязаны платком? — спросил я его. — Зубы болят?

— Нет-с, — возразил он, — это более пагубное следствие неосторожности. Был у меня приятель, хороший человек-с, но вовсе не охотник, как это бывает-с. Вот-с, в один день говорит он мне: «Любезный друг мой, возьми меня на охоту: я лю-

бопытствую узнать — в чём состоит эта забава». Я, разумеется, не захотел отказать товарищу; достал ему, со своей стороны, ружьё-с и взял его на охоту-с. Вот-с мы как следует поохотились; наконец вздумалось нам отдохнуть-с. Я сел под деревом; он же, напротив того, со своей стороны, начал выкидывать ружьём артикул-с, причём целился в меня. Я попросил его перестать, но, по неопытности своей, он не послушался-с. Выстрел грянул, и я лишился подбородка и указательного перста правой руки.

Мы дошли до Льгова. И Владимир, и Ермолай, оба решили, что без лодки охотиться было невозможно.

— У Сучка есть дощаник, — заметил Владимир, — да я не знаю, куда он его спрятал. Надобно сбегать к нему.

— К кому? — спросил я.

— А здесь человек живёт, прозвище ему Сучок.

Владимир отправился к Сучку с Ермолаем. Я сказал им, что буду ждать их у церкви. Рассматривая могилы на кладбище, наткнулся я на почерневшую четырёхугольную урну со следующими надписями: на одной стороне французскими буквами: «Ci gît Théophile Henri, vicomte de Blangy»; на другой: «Под сим камнем погребено

тело французского подданного, графа Бланжия; родился 1737, умре 1799 года, всего жития его было 62 года»; на третьей: «Мир его праху», а на четвёртой:

Под камнем сим лежит французский эмигрант;
Породу знатную имел он и талант,
Супругу и семью оплакав избиянну,
Покинул родину, тиранами попранну;
Российския страны достигнув берегов,
Обрёл на старости гостеприимный кров;
Учил детей, родителей покоил…
Всевышний судия его здесь успокоил…

Приход Ермолая, Владимира и человека со странным прозвищем Сучок прервал мои размышления.

Босоногий, оборванный и взъерошенный Сучок казался с виду отставным дворовым, лет шестидесяти.



СУЧОКЪ.

— Есть у тебя лодка? — спросил я.

— Лодка есть, — отвечал он глухим и разбитым голосом, — да больно плоха.

— А что?

— Расклеилась; да из дырьев клёпки повывалились.

— Велика беда! — подхватил Ермолай. — Паклей заткнуть можно.

— Известно, можно, — подтвердил Сучок.

— Да ты кто?

— Господский рыболов.

— Как же это ты рыболов, а лодка у тебя в такой неисправности?

— Да в нашей реке и рыбы-то нету.

— Рыба не любит ржавчины болотной, — с важностью заметил мой охотник.

— Ну, — сказал я Ермолаю, — поди достань пакли и справь нам лодку, да поскорей.

Ермолай ушёл.

— А ведь этак мы, пожалуй, и ко дну пойдём? — сказал я Владимиру.

— Бог милостив, — отвечал он. — Во всяком случае должно предполагать, что пруд не глубок.

— Да, он не глубок, — заметил Сучок, который говорил как-то странно, словно спросонья, — да на дне тина и трава, и весь он травой зарос. Впро-

чем, есть тоже и колдобины.

— Однако же, если трава так сильна, — заметил Владимир, — так и грести нельзя будет.

— Да кто ж на дощаниках гребёт? Надо пихаться. Я с вами поеду; у меня там есть шестик, — а то и лопатой можно.

— Лопатой неловко, до дна в ином месте, пожалуй, не достанешь, — сказал Владимир.

— Оно правда, что неловко.

Я присел на могилу в ожидании Ермолая. Владимир отошёл, для приличия, несколько в сторону и тоже сел. Сучок продолжал стоять на месте, повеся голову и сложив, по старой привычке, руки за спиной.

— Скажи, пожалуйста, — начал я, — давно ты здесь рыбаком?

— Седьмой год пошёл, — отвечал он, встрепенувшись.

— А прежде чем ты занимался?

— Прежде ездил кучером.

— Кто ж тебя из кучеров разжаловал?

— А новая барыня.

— Какая барыня?

— А что нас-то купила. Вы не изволите знать: Алёна Тимофевна, толстая такая… немолодая.

— С чего ж она вздумала тебя в рыболовы про-

извести?

— А бог её знает. Приехала к нам из своей вотчины, из Тамбова, велела всю дворню собрать, да и вышла к нам. Мы сперва к ручке, и она ничего: не серчает… А потом и стала по порядку нас расспрашивать: чем занимался, в какой должности состоял? Дошла очередь до меня; вот и спрашивает: «Ты чем был?» Говорю: «Кучером». — «Кучером? Ну, какой ты кучер, посмотри на себя: какой ты кучер? Не след тебе быть кучером, а будь у меня рыболовом и бороду сбрей. На случай моего приезда к господскому столу рыбу поставляй, слышишь?..» С тех пор вот я в рыболовах и числюсь. «Да пруд у меня, смотри, содержать в порядке…» А как его содержать в порядке?

— Чьи же вы прежде были?

— А Сергея Сергеича Пехтерева. По наследствию ему достались. Да и он нами недолго владел, всего шесть годов. У него-то вот я кучером и ездил… да не в городе — там у него другие были, а в деревне.

— И ты смолоду всё был кучером?

— Какое всё кучером! В кучера-то я попал при Сергее Сергеиче, а прежде поваром был, — но не городским тоже поваром, а так, в деревне.

— У кого ж ты был поваром?

— А у прежнего барина, у Афанасия Нефедыча, у Сергея Сергеичина дяди. Льгов-то он купил, Афанасий Нефедыч купил, а Сергею Сергеичу именье-то по наследствию досталось.

— У кого купил?

— А у Татьяны Васильевны.

— У какой Татьяны Васильевны?

— А вот, что в запрошлом году умерла, под Болховым… то бишь под Карачевым, в девках… И замужем не бывала. Не изволите знать? Мы к ней поступили от её батюшки, от Василья Семёныча. Она таки долгонько нами владела… годиков двадцать.

— Что ж, ты и у ней был поваром?

— Сперва точно был поваром, а то и в кофишёнки попал.

— Во что?

— В кофишенки.

— Это что за должность такая?

— А не знаю, батюшка. При буфете состоял и Антоном назывался, а не Кузьмой. Так барыня приказать изволила.

— Твоё настоящее имя Кузьма?

— Кузьма.

— И ты всё время был кофишёнком?

— Нет, не всё время: был и ахтером.

— Неужели?

— Как же, был… на кеятре играл. Барыня наша кеятр у себя завела.

— Какие же ты роли занимал?

— Чего изволите-с?

— Что ты делал на театре?

— А вы не знаете? Вот меня возьмут и нарядят; я так и хожу наряжённый, или стою, или сижу, как там придётся. Говорят: вот что говори, — я и говорю. Раз слепого представлял… Под каждую веку мне по горошине положили… Как же!

— А потом чем был?

— А потом опять в повара поступил.

— За что же тебя опять в повара разжаловали?

— А брат у меня сбежал.

— Ну, а у отца твоей первой барыни чем ты был?

— А в разных должностях состоял: сперва в казачках находился, фалетором был, садовником, а то и доезжачим.

— Доезжачим?.. И с собаками ездил?

— Ездил и с собаками, да убился: с лошадью упал и лошадь зашиб. Старый-то барин у нас был престрогий; велел меня выпороть да в ученье отдать в Москву, к сапожнику.

— Как в ученье? Да ты, чай, не ребёнком в до-

езжачие попал?

— Да лет, этак, мне было двадцать с лишком.

— Какое ж тут ученье в двадцать лет?

— Стало быть, ничего, можно, коли барин приказал. Да он, благо, скоро умер, — меня в деревню и вернули.

— Когда же ты поварскому-то мастерству обучился?

Сучок приподнял своё худенькое и жёлтенькое лицо и усмехнулся.

— Да разве этому учатся?.. Стряпают же бабы!

— Ну, — промолвил я, — видал ты, Кузьма, виды на своём веку! Что ж ты теперь в рыболовах делаешь, коль у вас рыбы нету?

— А я, батюшка, не жалуюсь. И слава богу, что в рыболовы произвели. А то вот другого, такого же, как я, старика — Андрея Пупыря — в бумажную фабрику, в черпальную, барыня приказала поставить. Грешно, говорит, даром хлеб есть... А Пупырь-то ещё на милость надеялся: у него двоюродный племянник в барской конторе сидит конторщиком: доложить обещался об нём барыне, напомнить. Вот те и напомнил!.. А Пупырь в моих глазах племяннику-то в ножки кланялся.

— Есть у тебя семейство? был женат?

— Нет, батюшка, не был. Татьяна Васильевна

покойница — царство ей небесное! — никому не позволяла жениться. Сохрани бог! Бывало, говорит: «Ведь живу же я так, в девках, что за баловство! чего им надо?»

— Чем же ты живёшь теперь? Жалованье получаешь?

— Какое, батюшка, жалованье!.. Харчи выдаются — и то слава тебе господи! много доволен. Продли бог века нашей госпоже!

Ермолай вернулся.

— Справлена лодка, — произнёс он сурово. — Ступай за шестом — ты!..

Сучок побежал за шестом. Во всё время моего разговора с бедным стариком охотник Владимир поглядывал на него с презрительной улыбкой.

— Глупый человек-с, — промолвил он, когда тот ушёл, — совершенно необразованный человек, мужик-с, больше ничего-с. Дворовым человеком его назвать нельзя-с… и всё хвастал-с… Где ж ему быть актёром-с, сами извольте рассудить-с! Напрасно изволили беспокоиться, изволили с ним разговаривать-с!

Через четверть часа мы уже сидели в дощанике Сучка. (Собак мы оставили в избе под надзором кучера Иегудиила.) Нам не очень было ловко, но охотники народ неразборчивый. У тупого,

заднего конца стоял Сучок и «пихался»; мы с Владимиром сидели на перекладине лодки; Ермолай поместился спереди, у самого носа. Несмотря на паклю, вода скоро появилась у нас под ногами. К счастью, погода была тихая, и пруд словно заснул.

Мы плыли довольно медленно. Старик с трудом выдёргивал из вязкой тины свой длинный шест, весь перепутанный зелёными нитями подводных трав; сплошные, круглые листья болотных лилий тоже мешали ходу нашей лодки. Наконец мы добрались до тростников, и пошла потеха. Утки шумно поднимались, «срывались» с пруда, испуганные нашим неожиданным появлением в их владениях, выстрелы дружно раздавались вслед за ними, и весело было видеть, как эти кургузые птицы кувыркались на воздухе, тяжко шлёпались об воду. Всех подстреленных уток мы, конечно, не достали: легко подраненные ныряли; иные, убитые наповал, падали в такой густой майер, что даже рысьи глазки Ермолая не могли открыть их; но всё-таки к обеду лодка наша через край наполнилась дичью.

Владимир, к великому утешению Ермолая, стрелял вовсе не отлично и после каждого неудачного выстрела удивлялся, осматривал и

продувал ружьё, недоумевал и, наконец, излагал нам причину, почему он промахнулся. Ермолай стрелял, как всегда, победоносно, я — довольно плохо, по обыкновению. Сучок посматривал на нас глазами человека, смолоду состоявшего на барской службе, изредка кричал: «Вон, вон ещё утица!» — и то и дело почёсывал спину — не руками, а приведёнными в движение плечами. Погода стояла прекрасная: белые круглые облака высоко и тихо неслись над нами, ясно отражаясь в воде; тростник шушукал кругом; пруд местами, как сталь, сверкал на солнце. Мы собирались вернуться в село, как вдруг с нами случилось довольно неприятное происшествие.

Мы уже давно могли заметить, что вода к нам понемногу всё набиралась в дощаник. Владимиру было поручено выбрасывать её вон посредством ковша, похищенного, на всякий случай, моим предусмотрительным охотником у зазевавшейся бабы. Дело шло как следовало, пока Владимир не забывал своей обязанности. Но к концу охоты, словно на прощанье, утки стали подниматься такими стадами, что мы едва успевали заряжать ружья. В пылу перестрелки мы не обращали внимания на состояние нашего дощаника, — как вдруг, от сильного движения Ермолая (он

старался достать убитую птицу и всем телом налёг на край), наше ветхое судно наклонилось, зачерпнулось и торжественно пошло ко дну, к счастью, не на глубоком месте. Мы вскрикнули, но уже было поздно: через мгновенье мы стояли в воде по горло, окружённые всплывшими телами мёртвых уток. Теперь я без хохота вспомнить не могу испуганных и бледных лиц моих товарищей (вероятно, и моё лицо не отличалось тогда румянцем); но в ту минуту, признаюсь, мне и в голову не приходило смеяться. Каждый из нас держал своё ружьё над головой, и Сучок, должно быть, по привычке подражать господам, поднял шест свой кверху. Первый нарушил молчание Ермолай.

— Тьфу ты, пропасть! — пробормотал он, плюнув в воду, — какая оказия! А всё ты, старый чёрт! — прибавил он с сердцем, обращаясь к Сучку. — Что это у тебя за лодка?

— Виноват, — пролепетал старик.

— Да и ты хорош, — продолжал мой охотник, повернув голову в направлении Владимира, — чего смотрел? чего не черпал? ты, ты, ты…

Но Владимиру было уже не до возражений: он дрожал, как лист, зуб на зуб не попадал, и совершенно бессмысленно улыбался. Куда девалось его красноречие, его чувство тонкого приличия и

собственного достоинства!

Проклятый дощаник слабо колыхался под нашими ногами… В миг кораблекрушения вода нам показалась чрезвычайно холодной, но мы скоро обтерпелись. Когда первый страх прошёл, я оглянулся; кругом, в десяти шагах от нас, росли тростники; вдали, над их верхушками, виднелся берег. «Плохо!» — подумал я.

— Как нам быть? — спросил я Ермолая.

— А вот посмотрим: не ночевать же здесь, — ответил он. — На, ты, держи ружьё, — сказал он Владимиру.

Владимир беспрекословно повиновался.

— Пойду сыщу брод, — продолжал Ермолай с уверенностью, как будто во всяком пруде непременно должен существовать брод, — взял у Сучка шест и отправился в направлении берега, осторожно выщупывая дно.

— Да ты умеешь ли плавать? — спросил я его.

— Нет, не умею, — раздался его голос из-за тростника.

— Ну, так утонет, — равнодушно заметил Сучок, который и прежде испугался не опасности, а нашего гнева, и теперь, совершенно успокоенный, только изредка отдувался и, казалось, не чувствовал никакой надобности переменить

своё положение.

— И без всякой пользы пропадёт-с, — жалобно прибавил Владимир.

Ермолай не возвращался более часу. Этот час нам показался вечностью. Сперва мы перекликивались с ним очень усердно; потом он стал реже отвечать на наши возгласы, наконец умолк совершенно. В селе зазвонили к вечерне. Меж собой мы не разговаривали, даже старались не глядеть друг на друга. Утки носились над нашими головами; иные собирались сесть подле нас, но вдруг поднимались кверху, как говорится, «колом», и с криком улетали. Мы начинали костенеть. Сучок хлопал глазами, словно спать располагался.

Наконец, к неописанной нашей радости, Ермолай вернулся.

— Ну, что?

— Был на берегу; брод нашёл… Пойдёмте.

Мы хотели было тотчас же отправиться; но он сперва достал под водой из кармана верёвку, привязал убитых уток за лапки, взял оба конца в зубы и побрёл вперёд; Владимир за ним, я за Владимиром. Сучок замыкал шествие. До берега было около двухсот шагов, Ермолай шёл смело и безостановочно (так хорошо заметил он дорогу), лишь изредка покрикивая: «Левей, — тут

направо колдобина!» или: «Правей, — тут налево завязнешь...» Иногда вода доходила нам до горла, и раза два бедный Сучок, будучи ниже всех нас ростом, захлёбывался и пускал пузыри. «Ну, ну, ну!» — грозно кричал на него Ермолай, — и Сучок карабкался, болтал ногами, прыгал и таки выбирался на более мелкое место, но даже в крайности не решался хвататься за полу моего сюртука. Измученные, грязные, мокрые, мы достигли наконец берега.

Часа два спустя мы уже все сидели, по мере возможности обсушенные, в большом сенном сарае и собирались ужинать. Кучер Иегудиил, человек чрезвычайно медлительный, тяжёлый на подъём, рассудительный и заспанный, стоял у ворот и усердно потчевал табаком Сучка. (Я заметил, что кучера в России очень скоро дружатся.) Сучок нюхал с остервенением, до тошноты: плевал, кашлял и, по-видимому, чувствовал большое удовольствие. Владимир принимал томный вид, наклонял головку набок и говорил мало. Ермолай вытирал наши ружья. Собаки с преувеличенной быстротой вертели хвостами в ожидании овсянки; лошади топали и ржали под навесом... Солнце садилось; широкими багровыми полосами разбегались его последние лучи;

золотые тучки расстилались по небу всё мельче и мельче, словно вымытая, расчёсанная волна… На селе раздавались песни.

Бежин луг

Был прекрасный июльский день, один из тех дней, которые случаются только тогда, когда погода установилась надолго. С самого раннего утра небо ясно; утренняя заря не пылает пожаром: она разливается кротким румянцем. Солнце — не огнистое, не раскалённое, как во время знойной засухи, не тускло-багровое, как перед бурей, но светлое и приветно лучезарное — мирно всплывает под узкой и длинной тучкой, свежо просияет и погрузится в лиловый её туман. Верхний, тонкий край растянутого облачка засверкает змейками; блеск их подобен блеску кованого серебра… Но вот опять хлынули играющие лучи, — и весело и величаво, словно взлетая, поднимается могучее светило. Около полудня обыкновенно появляется множество круглых высоких облаков, золотисто-серых, с нежными белыми краями. Подобно островам, разбросанным по бесконечно разлившейся реке, обтекающей их глубоко прозрачными рукавами ровной синевы, они почти не трогаются с места; далее, к небосклону, они сдвигаются, теснятся, синевы между ними уже не видать; но сами они

так же лазурны, как небо: они все насквозь проникнуты светом и теплотой. Цвет небосклона, лёгкий, бледно-лиловый, не изменяется во весь день и кругом одинаков; нигде не темнеет, не густеет гроза; разве кое-где протянутся сверху вниз голубоватые полосы: то сеется едва заметный дождь. К вечеру эти облака исчезают; последние из них, черноватые и неопределённые, как дым, ложатся розовыми клубами напротив заходящего солнца; на месте, где оно закатилось так же спокойно, как спокойно взошло на небо, алое сиянье стоит недолгое время над потемневшей землёй, и, тихо мигая, как бережно несомая свечка, затеплится на нём вечерняя звезда. В такие дни краски все смягчены; светлы, но не ярки; на всём лежит печать какой-то трогательной кротости. В такие дни жар бывает иногда весьма силён, иногда даже «парит» по скатам полей; но ветер разгоняет, раздвигает накопившийся зной, и вихри-круговороты — несомненный признак постоянной погоды — высокими белыми столбами гуляют по дорогам через пашню. В сухом и чистом воздухе пахнет полынью, сжатой рожью, гречихой; даже за час до ночи вы не чувствуете сырости. Подобной погоды желает земледелец для уборки хлеба…

В такой точно день охотился я однажды за тетеревами в Чернском уезде, Тульской губернии. Я нашёл и настрелял довольно много дичи; наполненный ягдташ[6] немилосердно резал мне плечо; но уже вечерняя заря погасала, и в воздухе, ещё светлом, хотя не озарённом более лучами закатившегося солнца, начинали густеть и разливаться холодные тени, когда я решился наконец вернуться к себе домой. Быстрыми шагами прошёл я длинную «площадь» кустов, взобрался на холм и, вместо ожиданной знакомой равнины с дубовым леском направо и низенькой белой церковью в отдалении, увидал совершенно другие, мне не известные места. У ног моих тянулась узкая долина; прямо, напротив, крутой стеной возвышался частый осинник. Я остановился в недоумении, оглянулся… «Эге! — подумал я, — да это я совсем не туда попал: я слишком забрал вправо», — и, сам дивясь своей ошибке, проворно спустился с холма. Меня тотчас охватила неприятная, неподвижная сырость, точно я вошёл в погреб; густая высокая трава на дне долины, вся мокрая, белела ровной скатертью; ходить по ней было как-то жутко. Я поскорей выкарабкался на

---

[6] Примечания: 6

Ягдта́ш — охотничья сумка для добычи.

другую сторону и пошёл, забирая влево, вдоль осинника. Летучие мыши уже носились над его заснувшими верхушками, таинственно кружась и дрожа на смутно-ясном небе; резво и прямо пролетел в вышине запоздалый ястребок, спеша в своё гнездо. «Вот как только я выйду на тот угол, — думал я про себя, — тут сейчас и будет дорога, а с версту крюку я дал!»

Я добрался наконец до угла леса, но там не было никакой дороги: какие-то некошеные, низкие кусты широко расстилались передо мною, а за ними, далёко-далёко, виднелось пустынное поле. Я опять остановился. «Что за притча?.. Да где же я?» Я стал припоминать, как и куда ходил в течение дня… «Э! да это Парахинские кусты! — воскликнул я наконец, — точно! вон это, должно быть, Синдеевская роща… Да как же это я сюда зашёл? Так далеко?.. Странно! Теперь опять нужно вправо взять».

Я пошёл вправо, через кусты. Между тем ночь приближалась и росла, как грозовая туча; казалось, вместе с вечерними парами отовсюду поднималась и даже с вышины лилась темнота. Мне попалась какая-то неторная, заросшая дорожка; я отправился по ней, внимательно поглядывая вперёд. Всё кругом быстро чернело

и утихало, — одни перепела изредка кричали. Небольшая ночная птица, неслышно и низко мчавшаяся на своих мягких крыльях, почти наткнулась на меня и пугливо нырнула в сторону. Я вышел на опушку кустов и побрёл по полю межой. Уже я с трудом различал отдалённые предметы; поле неясно белело вокруг; за ним, с каждым мгновением надвигаясь, громадными клубами вздымался угрюмый мрак. Глухо отдавались мои шаги в застывающем воздухе. Побледневшее небо стало опять синеть — но то уже была синева ночи. Звёздочки замелькали, зашевелились на нём.

Что я было принял за рощу, оказалось тёмным и круглым бугром. «Да где же это я?» — повторил я опять вслух, остановился в третий раз и вопросительно посмотрел на свою английскую жёлто-пегую собаку Дианку, решительно умнейшую изо всех четвероногих тварей. Но умнейшая из четвероногих тварей только повиляла хвостиком, уныло моргнула усталыми глазками и не подала мне никакого дельного совета. Мне стало совестно перед ней, и я отчаянно устремился вперёд, словно вдруг догадался, куда следовало идти, обогнул бугор и очутился в неглубокой, кругом распаханной лощине. Странное чувство

тотчас овладело мной. Лощина эта имела вид почти правильного котла с пологими боками; на дне её торчало стоймя несколько больших, белых камней, — казалось, они сползлись туда для тайного совещания, — и до того в ней было немо и глухо, так плоско, так уныло висело над нею небо, что сердце у меня сжалось. Какой-то зверок слабо и жалобно пискнул между камней. Я поспешил выбраться назад на бугор. До сих пор я всё ещё не терял надежды сыскать дорогу домой; но тут я окончательно удостоверился в том, что заблудился совершенно, и, уже нисколько не стараясь узнавать окрестные места, почти совсем потонувшие во мгле, пошёл себе прямо, по звёздам — наудалую… Около получаса шёл я так, с трудом переставляя ноги. Казалось, отроду не бывал я в таких пустых местах: нигде не мерцал огонёк, не слышалось никакого звука. Один пологий холм сменялся другим, поля бесконечно тянулись за полями, кусты словно вставали вдруг из земли перед самым моим носом. Я всё шёл и уже собирался было прилечь где-нибудь до утра, как вдруг очутился над страшной бездной.

Я быстро отдёрнул занесённую ногу и, сквозь едва прозрачный сумрак ночи, увидел далеко под собою огромную равнину. Широкая река

огибала её уходящим от меня полукругом; стальные отблески воды, изредка и смутно мерцая, обозначали её теченье. Холм, на котором я находился, спускался вдруг почти отвесным обрывом; его громадные очертания отделялись, чернея, от синеватой воздушной пустоты, и прямо подо мною, в углу, образованном тем обрывом и равниной, возле реки, которая в этом месте стояла неподвижным, тёмным зеркалом, под самой кручью холма, красным пламенем горели и дымились друг подле дружки два огонька. Вокруг них копошились люди, колебались тени, иногда ярко освещалась передняя половина маленькой кудрявой головы…

Я узнал наконец, куда я зашёл. Этот луг славится в наших околотках под названием Бежина луга… Но вернуться домой не было никакой возможности, особенно в ночную пору; ноги подкашивались подо мной от усталости. Я решился подойти к огонькам и в обществе тех людей, которых принял за гуртовщиков, дождаться зари. Я благополучно спустился вниз, но не успел выпустить из рук последнюю ухваченную мною ветку, как вдруг две большие, белые, лохматые собаки со злобным лаем бросились на меня. Детские звонкие голоса раздались вокруг огней;

два-три мальчика быстро поднялись с земли. Я откликнулся на их вопросительные крики. Они подбежали ко мне, отозвали тотчас собак, которых особенно поразило появление моей Дианки, и я подошёл к ним.

Я ошибся, приняв людей, сидевших вокруг тех огней, за гуртовщиков. Это просто были крестьянские ребятишки из соседних деревень, которые стерегли табун. В жаркую летнюю пору лошадей выгоняют у нас на ночь кормиться в поле: днём мухи и оводы не дали бы им покоя. Выгонять перед вечером и пригонять на утренней заре табун — большой праздник для крестьянских мальчиков. Сидя без шапок и в старых полушубках на самых бойких клячонках, мчатся они с весёлым гиканьем и криком, болтая руками и ногами, высоко подпрыгивают, звонко хохочут. Лёгкая пыль жёлтым столбом поднимается и несётся по дороге; далеко разносится дружный топот, лошади бегут, навострив уши; впереди всех, задравши хвост и беспрестанно меняя ногу, скачет какой-нибудь рыжий косматый, с репейником в спутанной гриве.

Я сказал мальчикам, что заблудился, и подсел к ним. Они спросили меня, откуда я, помолчали, посторонились. Мы немного поговорили. Я прилёг

под обглоданный кустик и стал глядеть кругом. Картина была чудесная: около огней дрожало и как будто замирало, упираясь в темноту, круглое красноватое отражение; пламя, вспыхивая, изредка забрасывало за черту того круга быстрые отблески; тонкий язык света лизнёт голые сучья лозника и разом исчезнет; острые, длинные тени, врываясь на мгновенье, в свою очередь, добегали до самых огоньков: мрак боролся со светом. Иногда, когда пламя горело слабее и кружок света суживался, из надвинувшейся тьмы внезапно выставлялась лошадиная голова, гнедая, с извилистой проточиной, или вся белая, внимательно и тупо смотрела на нас, проворно жуя длинную траву, и, снова опускаясь, тотчас скрывалась. Только слышно было, как она продолжала жевать и отфыркивалась. Из освещённого места трудно разглядеть, что делается в потёмках, и потому вблизи всё казалось задёрнутым почти чёрной завесой; но далее к небосклону длинными пятнами смутно виднелись холмы и леса. Тёмное чистое небо торжественно и необъятно высоко стояло над нами со всем своим таинственным великолепием. Сладко стеснялась грудь, вдыхая тот особенный, томительный и свежий запах — запах русской летней ночи. Кругом не слышалось

почти никакого шума… Лишь изредка в близкой реке с внезапной звучностью плеснёт большая рыба и прибрежный тростник слабо зашумит, едва поколебленный набежавшей волной… Одни огоньки тихонько потрескивали.

Мальчики сидели вокруг их; тут же сидели и те две собаки, которым так было захотелось меня съесть. Они ещё долго не могли примириться с моим присутствием и, сонливо щурясь и косясь на огонь, изредка рычали с необыкновенным чувством собственного достоинства; сперва рычали, а потом слегка визжали, как бы сожалея о невозможности исполнить своё желание. Всех мальчиков было пять: Федя, Павлуша, Ильюша, Костя и Ваня. (Из их разговоров я узнал их имена и намерен теперь же познакомить с ними читателя.)



Первому, старшему изо всех, Феде, вы бы дали лет четырнадцать. Это был стройный мальчик, с красивыми и тонкими, немного мелкими чертами лица, кудрявыми белокурыми волосами, светлыми глазами и постоянной полувесёлой, полурассеянной улыбкой. Он принадлежал, по всем приметам, к богатой семье и выехал-то в поле не по нужде, а так, для забавы. На нём была пёстрая ситцевая рубаха с жёлтой каёмкой; небольшой новый армячок, надетый внакидку,

чуть держался на его узеньких плечиках; на голубеньком поясе висел гребешок. Сапоги его с низкими голенищами были точно его сапоги — не отцовские. У второго мальчика, Павлуши, волосы были всклоченные, чёрные, глаза серые, скулы широкие, лицо бледное, рябое, рот большой, но правильный, вся голова огромная, как говорится, с пивной котёл, тело приземистое, неуклюжее. Малый был неказистый, — что и говорить! — а всё-таки он мне понравился: глядел он очень умно, и прямо, да и в голосе у него звучала сила. Одеждой своей он щеголять не мог: вся она состояла из простой замашной рубахи да из заплатанных портов. Лицо третьего, Ильюши, было довольно незначительно: горбоносое, вытянутое, подслеповатое, оно выражало какую-то тупую, болезненную заботливость; сжатые губы его не шевелились, сдвинутые брови не расходились — он словно всё щурился от огня. Его жёлтые, почти белые волосы торчали острыми косицами из-под низенькой войлочной шапочки, которую он обеими руками то и дело надвигал себе на уши. На нём были новые лапти и онучи[7];

[7] Примечания: 7

Ону́ча — часть традиционного русского костюма; длинная и широкая полоса ткани, которой обматывали ногу до колена при обувании лаптей.

толстая верёвка, три раза перевитая вокруг стана, тщательно стягивала его опрятную чёрную свитку. И ему и Павлуше на вид было не более двенадцати лет. Четвёртый, Костя, мальчик лет десяти, возбуждал моё любопытство своим задумчивым и печальным взором. Всё лицо его было невелико, худо, в веснушках, книзу заострено, как у белки; губы едва было можно различить; но странное впечатление производили его большие, чёрные, жидким блеском блестевшие глаза: они, казалось, хотели что-то высказать, для чего на языке, — на его языке по крайней мере, — не было слов. Он был маленького роста, сложения тщедушного и одет довольно бедно. Последнего, Ваню, я сперва было и не заметил: он лежал на земле, смирнёхонько прикорнув под угловатую рогожу, и только изредка выставлял из-под неё свою русую кудрявую голову. Этому мальчику было всего лет семь.

Итак, я лежал под кустиком в стороне и поглядывал на мальчиков. Небольшой котёльчик висел над одним из огней; в нём варились «картошки». Павлуша наблюдал за ним и, стоя на коленях, тыкал щепкой в закипавшую воду. Федя лежал, опершись на локоть и раскинув полы своего армяка. Ильюша сидел рядом с Костей и

всё так же напряжённо щурился. Костя понурил немного голову и глядел куда-то вдаль. Ваня не шевелился под своей рогожей. Я притворился спящим. Понемногу мальчики опять разговорились.

Сперва они покалякали о том и сём, о завтрашних работах, о лошадях; но вдруг Федя обратился к Ильюше и, как бы возобновляя прерванный разговор, спросил его:

— Ну, и что ж ты, так и видел домового?

— Нет, я его не видал, да его и видеть нельзя, — отвечал Ильюша сиплым и слабым голосом, звук которого как нельзя более соответствовал выражению его лица, — а слышал… Да и не я один.

— А он у вас где водится? — спросил Павлуша.

— В старой рольне[8].

— А разве вы на фабрику ходите?

— Как же, ходим. Мы с братом, с Авдюшкой, в лисовщиках[9] состоим.

— Вишь ты — фабричные!..

— Ну, так как же ты его слышал? — спросил Федя.

---

[8] Примечания: 8

«Рольней» или «черпальней» на бумажных фабриках называется то строение, где в чанах вычерпывают бумагу. Оно находится у самой плотины, под колесом (*Прим. автора*).

[9] Примечания: 9

«Лисовщики» гладят, скоблят бумагу (*Прим. автора*).

— А вот как. Пришлось нам с братом Авдюшкой, да с Фёдором Михеевским, да с Ивашкой Косым, да с другим Ивашкой, что с Красных Холмов, да ещё с Ивашкой Сухоруковым, да ещё были там другие ребятишки; всех было нас ребяток человек десять — как есть вся смена; но а пришлось нам в рольне заночевать, то есть не то чтобы этак пришлось, а Назаров, надсмотрщик, запретил; говорит: «Что, мол, вам, ребяткам, домой таскаться; завтра работы много, так вы, ребятки, домой не ходите». Вот мы остались и лежим все вместе, и зачал Авдюшка говорить, что, мол, ребята, ну, как домовой придёт?.. И не успел он, Авдей-от, проговорить, как вдруг кто-то над головами у нас и заходил; но а лежали-то мы внизу, а заходил он наверху, у колеса. Слышим мы: ходит, доски под ним так и гнутся, так и трещат; вот прошёл он через наши головы; вода вдруг по колесу как зашумит, зашумит; застучит, застучит колесо, завертится; но а заставки у дворца-то[10] спущены. Дивимся мы: кто ж это их поднял, что вода пошла; однако колесо повертелось, повертелось, да и стало. Пошёл тот опять к двери наверху да по лестнице спущаться стал, и этак спущается,

[10] Примечания: 10

«Дворцом» называется у нас место, по которому вода бежит на колесо (*Прим. автора*).

словно не торопится; ступеньки под ним так даже и стонут… Ну, подошёл тот к нашей двери, подождал, подождал — дверь вдруг вся так и распахнулась. Всполохнулись мы, смотрим — ничего… Вдруг, глядь, у одного чана форма[11] зашевелилась, поднялась, окунулась, походила, походила этак по воздуху, словно кто ею полоскал, да и опять на место. Потом у другого чана крюк снялся с гвоздя да опять на гвоздь; потом будто кто-то к двери пошёл да вдруг как закашляет, как заперхает, словно овца какая, да зычно так… Мы все так ворохом и свалились, друг под дружку полезли… Уж как же мы напужались о ту пору!

— Вишь как! — промолвил Павел. — Чего ж он раскашлялся?

— Не знаю; может, от сырости.

Все помолчали.

— А что, — спросил Федя, — картошки сварились?

Павлуша пощупал их.

— Нет, ещё сыры… Вишь, плеснула, — прибавил он, повернув лицо в направлении реки, — должно быть, щука… А вон звёздочка покатилась.

---

[11] Примечания: 11

Сетка, которой бумагу черпают (*Прим. автора*).

— Нет, я вам что, братцы, расскажу, — заговорил Костя тонким голоском, — послушайте-ка, намеднись что тятя при мне рассказывал.

— Ну, слушаем, — с покровительствующим видом сказал Федя.

— Вы ведь знаете Гаврилу, слободского плотника?

— Ну да; знаем.

— А знаете ли, отчего он такой всё невесёлый, всё молчит, знаете? Вот отчего он такой невесёлый. Пошёл он раз, тятенька говорил, — пошёл он, братцы мои, в лес по орехи. Вот пошёл он в лес по орехи, да и заблудился; зашёл — бог знает куды зашёл. Уж он ходил, ходил, братцы мои, — нет! не может найти дороги; а уж ночь на дворе. Вот и присел он под дерево; давай, мол, дождусь утра, — присел и задремал. Вот задремал и слышит вдруг, кто-то его зовёт. Смотрит — никого. Он опять задремал — опять зовут. Он опять глядит, глядит: а перед ним на ветке русалка сидит, качается и его к себе зовёт, а сама помирает со смеху, смеётся… А месяц-то светит сильно, так сильно, явственно светит месяц — всё, братцы мои, видно. Вот зовёт она его, и такая вся сама светленькая, беленькая сидит на ветке, словно плотичка какая или пескарь, — а то вот ещё карась бывает такой

белесоватый, серебряный… Гаврила-то плотник так и обмер, братцы мои, а она знай хохочет да его всё к себе этак рукой зовёт. Уж Гаврила было и встал, послушался было русалки, братцы мои, да, знать, господь его надоумил: положил-таки на себя крест… А уж как ему было трудно крест-то класть, братцы мои; говорит, рука просто как каменная, не ворочается… Ах ты этакой, а!.. Вот как положил он крест, братцы мои, русалочка-то и смеяться перестала, да вдруг как заплачет… Плачет она, братцы мои, глаза волосами утирает, а волоса у неё зелёные, что твоя конопля. Вот поглядел, поглядел на неё Гаврила, да и стал её спрашивать: «Чего ты, лесное зелье, плачешь?» А русалка-то как взговорит ему: «Не креститься бы тебе, говорит, человече, жить бы тебе со мной на веселии до конца дней; а плачу я, убиваюсь оттого, что ты крестился; да не я одна убиваться буду: убивайся же и ты до конца дней». Тут она, братцы мои, пропала, а Гавриле тотчас и понятственно стало, как ему из лесу, то есть, выйти… А только с тех пор вот он всё невесёлый ходит.

— Эка! — проговорил Федя после недолгого молчанья, — да как же это может этакая лесная нечисть хрестиянскую душу спортить, — он же её не послушался?

— Да вот поди ты! — сказал Костя. — И Гаврила баил, что голосок, мол, у ней такой тоненький, жалобный, как у жабы.

— Твой батька сам это рассказывал? — продолжал Федя.

— Сам. Я лежал на полатях, всё слышал.

— Чудно́е дело! Чего ему быть невесёлым?.. А, знать, он ей понравился, что позвала его.

— Да, понравился! — подхватил Ильюша. — Как же! Защекотать она его хотела, вот что она хотела. Это ихнее дело, этих русалок-то.

— А ведь вот и здесь должны быть русалки, — заметил Федя.

— Нет, — отвечал Костя, — здесь место чистое, вольное. Одно — река близко.

Все смолкли. Вдруг, где-то в отдалении, раздался протяжный, звенящий, почти стенящий звук, один из тех непонятных ночных звуков, которые возникают иногда среди глубокой тишины, поднимаются, стоят в воздухе и медленно разносятся наконец, как бы замирая. Прислушаешься — и как будто нет ничего, а звенит. Казалось, кто-то долго, долго прокричал под самым небосклоном, кто-то другой как будто отозвался ему в лесу тонким, острым хохотом, и слабый, шипящий свист промчался по реке. Мальчики переглянулись,

вздрогнули…

— С нами крёстная сила! — шепнул Илья.

— Эх вы, вороны! — крикнул Павел. — Чего всполохнулись? Посмотрите-ка, картошки сварились. (Все пододвинулись к котёльчику и начали есть дымящийся картофель; один Ваня не шевельнулся.) Что же ты? — сказал Павел.

Но он не вылез из-под своей рогожи. Котёльчик скоро весь опорожнился.

— А слыхали вы, ребятки, — начал Ильюша, — что намеднись у нас на Варнавицах приключилось?

— На плотине-то? — спросил Федя.

— Да, да, на плотине, на прорванной. Вот уж нечистое место, так нечистое, и глухое такое. Кругом всё такие буераки, овраги, а в оврагах всё казюли[12] водятся.

— Ну, что такое случилось? сказывай…

— А вот что случилось. Ты, может быть, Федя, не знаешь, а только там у нас утопленник похоронен; а утопился он давным-давно, как пруд ещё был глубок; только могилка его ещё видна, да и та чуть видна: так — бугорочек… Вот, на днях, зовёт приказчик псаря Ермила; говорит: «Ступай, мол,

---

[12] Примечания: 12
По-орловскому: змеи (*Прим. автора*).

Ермил, на пошту». Ермил у нас завсегда на пошту ездит; собак-то он всех своих поморил: не живут они у него отчего-то, так-таки никогда и не жили, а псарь он хороший, всем взял. Вот поехал Ермил за поштой, да и замешкался в городе, но а едет назад уж он хмелён. А ночь, и светлая ночь: месяц светит… Вот и едет Ермил через плотину: такая уж его дорога вышла. Едет он этак, псарь Ермил, и видит: у утопленника на могиле барашек, белый такой, кудрявый, хорошенький, похаживает. Вот и думает Ермил: «Сём возьму его, — что ему так пропадать», да и слез, и взял его на руки… Но а барашек — ничего. Вот идёт Ермил к лошади, а лошадь от него таращится, храпит, головой трясёт; однако он её отпрукал, сел на неё с барашком и поехал опять: барашка перед собой держит. Смотрит он на него, и барашек ему прямо в глаза так и глядит. Жутко ему стало, Ермилу-то псарю: что, мол, не помню я, чтобы этак бараны кому в глаза смотрели; однако ничего; стал он его этак по шерсти гладить, — говорит: «Бяша, бяша!» А баран-то вдруг как оскалит зубы, да ему тоже: «Бяша, бяша…»

Не успел рассказчик произнести это последнее слово, как вдруг обе собаки разом поднялись, с судорожным лаем ринулись прочь от огня и

исчезли во мраке. Все мальчики перепугались. Ваня выскочил из-под своей рогожи. Павлуша с криком бросился вслед за собаками. Лай их быстро удалялся… Послышалась беспокойная беготня встревоженного табуна. Павлуша громко кричал: «Серый! Жучка!..» Через несколько мгновений лай замолк; голос Павла принёсся уже издалека… Прошло ещё немного времени; мальчики с недоумением переглядывались, как бы выжидая, что-то будет… Внезапно раздался топот скачущей лошади; круто остановилась она у самого костра, и, уцепившись за гриву, проворно спрыгнул с неё Павлуша. Обе собаки также вскочили в кружок света и тотчас сели, высунув красные языки.

— Что там? что такое? — спросили мальчики.

— Ничего, — отвечал Павел, махнув рукой на лошадь, — так, что-то собаки зачуяли. Я думал, волк, — прибавил он равнодушным голосом, проворно дыша всей грудью.

Я невольно полюбовался Павлушей. Он был очень хорош в это мгновение. Его некрасивое лицо, оживлённое быстрой ездой, горело смелой удалью и твёрдой решимостью. Без хворостинки в руке, ночью, он, нимало не колеблясь, поскакал один на волка… «Что за славный мальчик!» — думал я, глядя на него.

— А видали их, что ли, волков-то? — спросил трусишка Костя.

— Их всегда здесь много, — отвечал Павел, — да они беспокойны только зимой.

Он опять прикорнул перед огнём. Садясь на землю, уронил он руку на мохнатый затылок одной из собак, и долго не поворачивало головы обрадованное животное, с признательной гордостью посматривая сбоку на Павлушу.

Ваня опять забился под рогожку.

— А какие ты нам, Илюшка, страхи рассказывал, — заговорил Федя, которому, как сыну богатого крестьянина, приходилось быть запевалой (сам же он говорил мало, как бы боясь уронить своё достоинство). — Да и собак тут нелёгкая дёрнула залаять... А точно, я слышал, это место у вас нечистое.

— Варнавицы?.. Ещё бы! ещё какое нечистое! Там не раз, говорят, старого барина видали — покойного барина. Ходит, говорят, в кафтане долгополом и всё это этак охает, чего-то на земле ищет. Его раз дедушка Трофимыч повстречал: «Что, мол, батюшка, Иван Иваныч, изволишь искать на земле?»

— Он его спросил? — перебил изумлённый Федя.

— Да, спросил.

— Ну, молодец же после этого Трофимыч… Ну, и что ж тот?

— Разрыв-травы, говорит, ищу. Да так глухо говорит, глухо: — Разрыв-травы. — А на что тебе, батюшка Иван Иваныч, разрыв-травы? — Давит, говорит, могила давит, Трофимыч: вон хочется, вон…

— Вишь какой! — заметил Федя, — мало, знать, пожил.

— Экое диво! — промолвил Костя. — Я думал, покойников можно только в родительскую субботу видеть.

— Покойников во всяк час видеть можно, — с уверенностью подхватил Ильюша, который, сколько я мог заметить, лучше других знал все сельские поверья… — Но а в родительскую субботу ты можешь и живого увидать, за кем, то есть, в том году очередь помирать. Стоит только ночью сесть на паперть на церковную да всё на дорогу глядеть. Те и пойдут мимо тебя по дороге, кому, то есть, умирать в том году. Вот у нас в прошлом году баба Ульяна на паперть ходила.

— Ну, и видела она кого-нибудь? — с любопытством спросил Костя.

— Как же. Перво-наперво она сидела долго,

долго, никого не видала и не слыхала… только всё как будто собачка этак залает, залает где-то… Вдруг, смотрит: идёт по дорожке мальчик в одной рубашонке. Она приглянулась — Ивашка Федосеев идёт…

— Тот, что умер весной? — перебил Федя.

— Тот самый. Идёт и головушки не подымает… А узнала его Ульяна… Но а потом смотрит: баба идёт. Она вглядываться, вглядываться, — ах ты, господи! — сама идёт по дороге, сама Ульяна.

— Неужто сама? — спросил Федя.

— Ей-богу, сама.

— Ну что ж, ведь она ещё не умерла?

— Да году-то ещё не прошло. А ты посмотри на неё: в чем душа держится.

Все опять притихли. Павел бросил горсть сухих сучьев на огонь. Резко зачернелись они на внезапно вспыхнувшем пламени, затрещали, задымились и пошли коробиться, приподнимая обожжённые концы. Отражение света ударило, порывисто дрожа, во все стороны, особенно кверху. Вдруг откуда ни возьмись белый голубок, — налетел прямо в это отражение, пугливо повертелся на одном месте, весь обливаясь горячим блеском, и исчез, звеня крылами.

— Знать, от дому отбился, — заметил Павел. —

Теперь будет лететь, покуда на что наткнётся, и где ткнёт, там и ночует до зари.

— А что, Павлуша, — промолвил Костя, — не праведная ли это душа летела на небо, ась?

Павел бросил другую горсть сучьев на огонь.

— Может быть, — проговорил он наконец.

— А скажи, пожалуй, Павлуша, — начал Федя, — что, у вас тоже в Шаламове было видать предвиденье-то небесное?[13]

— Как солнца-то не стало видно? Как же.

— Чай, напугались и вы.

— Да не мы одни. Барин-то наш, хоша и толковал нам напредки, что, дескать, будет вам предвиденье, а как затемнело, сам, говорят, так перетрусился, что на-поди. А на дворовой избе баба-стряпуха, так та, как только затемнело, слышь, взяла да ухватом все горшки перебила в печи: «Кому теперь есть, говорит, наступило светопрестановление». Так шти и потекли. А у нас на деревне такие, брат, слухи ходили, что, мол, белые волки по земле побегут, людей есть будут, хищная птица полетит, а то и самого Тришку[14]

---

[13] Примечания: 13

Так мужики называют у нас солнечное затмение (*Прим. автора*).

[14] Примечания: 14

В поверье о «Тришке», вероятно, отозвалось сказание об антихристе (*Прим. автора*).

увидят.

— Какого это Тришку? — спросил Костя.

— А ты не знаешь? — с жаром подхватил Илюша. — Ну, брат, откентелева же ты, что Тришки не знаешь? Сидни же у вас в деревне сидят, вот уж точно сидни! Тришка — эвто будет такой человек удивительный, который придёт; а придёт он, когда наступят последние времена. И будет он такой удивительный человек, что его и взять нельзя будет, и ничего ему сделать нельзя будет: такой уж будет удивительный человек. Захотят его, например, взять хрестьяне; выйдут на него с дубьём, оцепят его, но а он им глаза отведёт — так отведёт им глаза, что они же сами друг друга побьют. В острог его посадят, например, — он попросит водицы испить в ковшике: ему принесут ковшик, а он нырнёт туда, да и поминай как звали. Цепи на него наденут, а он в ладошки затрепещется — они с него так и попадают. Ну, и будет ходить этот Тришка по сёлам да по городам; и будет этот Тришка, лукавый человек, соблазнять народ хрестиянский… ну а сделать ему нельзя будет ничего… Уж такой он будет удивительный, лукавый человек.

— Ну да, — продолжал Павел своим неторопливым голосом, — такой. Вот его-то и ждали у нас.

Говорили старики, что вот, мол, как только предвиденье небесное зачнётся, так Тришка и придёт. Вот и зачалось предвиденье. Высыпал весь народ на улицу, в поле, ждёт, что будет. А у нас, вы знаете, место видное, привольное. Смотрят — вдруг от слободки с горы идёт какой-то человек, такой мудрёный, голова такая удивительная... Все как крикнут: «Ой, Тришка идёт! ой, Тришка идёт!» — да кто куды! Староста наш в канаву залез; старостиха в подворотне застряла, благим матом кричит, свою же дворную собаку так запужала, что та с цепи долой, да через плетень, да в лес; а Кузькин отец, Дорофеич, вскочил в овёс, присел, да и давай кричать перепелом: «Авось, мол, хоть птицу-то враг, душегубец, пожалеет». Таково-то всё переполошились!.. А человек-то это шёл наш бочар, Вавила: жбан себе новый купил да на голову пустой жбан и надел.

Все мальчики засмеялись и опять приумолкли на мгновенье, как это часто случается с людьми, разговаривающими на открытом воздухе. Я поглядел кругом: торжественно и царственно стояла ночь; сырую свежесть позднего вечера сменила полуночная сухая теплынь, и ещё долго было ей лежать мягким пологом на заснувших полях; ещё много времени оставалось до первого

лепета, до первых шорохов и шелестов утра, до первых росинок зари. Луны не было на небе: она в ту пору поздно всходила. Бесчисленные золотые звёзды, казалось, тихо текли все, наперерыв мерцая, по направлению Млечного Пути, и, право, глядя на них, вы как будто смутно чувствовали сами стремительный, безостановочный бег земли…

Странный, резкий, болезненный крик раздался вдруг два раза сряду над рекой и, спустя несколько мгновений, повторился уже далее…

Костя вздрогнул. «Что это?»

— Это цапля кричит, — спокойно возразил Павел.

— Цапля, — повторил Костя… — А что такое, Павлуша, я вчера слышал вечером, — прибавил он, помолчав немного, — ты, может быть, знаешь…

— Что ты слышал?

— А вот что я слышал. Шёл я из Каменной Гряды в Шашкино; а шёл сперва все нашим орешником, а потом лужком пошёл — знаешь, там, где он су-

гибелью[15] выходит, — там ведь есть бучило;[16] знаешь, оно ещё всё камышом заросло; вот пошёл я мимо этого бучила, братцы мои, и вдруг из того-то бучила как застонет кто-то, да так жалостливо, жалостливо: у-у… у-у… у-у! Страх такой меня взял, братцы мои: время-то позднее, да и голос такой болезный. Так вот, кажется, сам бы и заплакал… Что бы это такое было? ась?

— В этом бучиле в запрошлом лете Акима-лесника утопили воры, — заметил Павлуша, — так, может быть, его душа жалобится.

— А ведь и то, братцы мои, — возразил Костя, расширив свои и без того огромные глаза… — Я и не знал, что Акима в том бучиле утопили: я бы ещё не так напужался.

— А то, говорят, есть такие лягушки махонькие, — продолжал Павел, — которые так жалобно кричат.

— Лягушки? Ну, нет, это не лягушки… какие это… (Цапля опять прокричала над рекой.) — Эк её! — невольно произнёс Костя, — словно леший кричит.

---

[15] Примечания: 15

Суги́бель — крутой поворот в овраге.

[16] Примечания: 16

Бучи́ло — глубокая яма с весенней водой, оставшейся после половодья, которая не пересыхает даже летом.

— Леший не кричит, он немой, — подхватил Ильюша, — он только в ладоши хлопает да трещит…

— А ты его видал, лешего-то, что ли? — насмешливо перебил его Федя.

— Нет, не видал, и сохрани бог его видеть; но а другие видели. Вот на днях он у нас мужичка обошёл: водил, водил его по лесу, и всё вокруг одной поляны… Едва-те к свету домой добился.

— Ну, и видел он его?

— Видел. Говорит, такой стоит большой, большой, тёмный, скутанный, этак словно за деревом, хорошенько не разберёшь, словно от месяца прячется, и глядит, глядит глазищами-то, моргает ими, моргает…

— Эх ты! — воскликнул Федя, слегка вздрогнув и передёрнув плечами, — пфу!..

— И зачем эта пóгань в свете развелась? — заметил Павел. — Не понимаю, право!

— Не бранись: смотри, услышит, — заметил Илья.

Настало опять молчание.

— Гляньте-ка, гляньте-ка, ребятки, — раздался вдруг детский голос Вани, — гляньте на божьи звёздочки, — что пчёлки роятся!

Он выставил своё свежее личико из-под рого-

жи, опёрся на кулачок и медленно поднял кверху свои большие тихие глаза. Глаза всех мальчиков поднялись к небу и не скоро опустились.

— А что, Ваня, — ласково заговорил Федя, — что, твоя сестра Анютка здорова?

— Здорова, — отвечал Ваня, слегка картавя.

— Ты ей скажи — что она к нам, отчего не ходит?..

— Не знаю.

— Ты ей скажи, чтобы она ходила.

— Скажу.

— Ты ей скажи, что я ей гостинца дам.

— А мне дашь?

— И тебе дам.

Ваня вздохнул.

— Ну, нет, мне не надо. Дай уж лучше ей: она такая у нас добренькая.

И Ваня опять положил свою голову на землю. Павел встал и взял в руку пустой котёльчик.

— Куда ты? — спросил его Федя.

— К реке, водицы зачерпнуть: водицы захотелось испить.

Собаки поднялись и пошли за ним.

— Смотри, не упади в реку! — крикнул ему вслед Ильюша.

— Отчего ему упасть? — сказал Федя, — он осте-

режётся.

— Да, остережётся. Всяко бывает: он вот нагнётся, станет черпать воду, а водяной его за руку схватит да потащит к себе. Станут потом говорить: упал, дескать, малый в воду… А какое упал?.. Во-вон, в камыши полез, — прибавил он, прислушиваясь.

Камыши точно, раздвигаясь, «шуршали», как говорится у нас.

— А правда ли, — спросил Костя, — что Акулина-дурочка с тех пор и рехнулась, как в воде побывала?

— С тех пор… Какова теперь! Но а говорят, прежде красавица была. Водяной её испортил. Знать, не ожидал, что её скоро вытащут. Вот он её, там у себя на дне, и испортил.

(Я сам не раз встречал эту Акулину. Покрытая лохмотьями, страшно худая, с чёрным, как уголь, лицом, помутившимся взором и вечно оскаленными зубами, топчется она по целым часам на одном месте, где-нибудь на дороге, крепко прижав костлявые руки к груди и медленно переваливаясь с ноги на ногу, словно дикий зверь в клетке. Она ничего не понимает, что бы ей ни говорили, и только изредка судорожно хохочет.)

— А говорят, — продолжал Костя, — Акулина

оттого в реку и кинулась, что её полюбовник обманул.

— От того самого.

— А помнишь Васю? — печально прибавил Костя.

— Какого Васю? — спросил Федя.

— А вот того, что утонул, — отвечал Костя, — в этой вот в самой реке. Уж какой же мальчик был! и-их, какой мальчик был! Мать-то его, Феклиста, уж как же она его любила, Васю-то! И словно чуяла она, Феклиста-то, что ему от воды погибель произойдёт. Бывало, пойдёт-то Вася с нами, с ребятками, летом в речку купаться, — она так вся и встрепещется. Другие бабы ничего, идут себе мимо с корытами, переваливаются, а Феклиста поставит корыто наземь и станет его кликать: «Вернись, мол, вернись, мой светик! ох, вернись, соколик!» И как утонул, господь знает. Играл на бережку, и мать тут же была, сено сгребала; вдруг слышит, словно кто пузыри по воде пускает, — глядь, а только уж одна Васина шапонька по воде плывёт. Ведь вот с тех пор и Феклиста не в своём уме: придёт да и ляжет на том месте, где он утоп; ляжет, братцы мои, да и затянет песенку, — помните, Вася-то всё такую песенку певал, — вот её-то она и затянет, а сама плачет, плачет, горько

богу жалится…

— А вот Павлуша идёт, — молвил Федя.

Павел подошёл к огню с полным котёльчиком в руке.

— Что, ребята, — начал он, помолчав, — неладно дело.

— А что? — торопливо спросил Костя.

— Я Васин голос слышал.

Все так и вздрогнули.

— Что ты, что ты? — пролепетал Костя.

— Ей-богу. Только стал я к воде нагибаться, слышу вдруг зовут меня этак Васиным голоском и словно из-под воды: «Павлуша, а Павлуша!» Я слушаю; а тот опять зовёт: «Павлуша, подь сюда». Я отошёл. Однако воды зачерпнул.

— Ах ты господи! ах ты господи! — проговорили мальчики, крестясь.

— Ведь это тебя водяной звал, Павел, — прибавил Федя… — А мы только что о нём, о Васе-то, говорили.

— Ах, это примета дурная, — с расстановкой проговорил Ильюша.

— Ну, ничего, пущай! — произнёс Павел решительно и сел опять, — своей судьбы не минуешь.

Мальчики приутихли. Видно было, что слова Павла произвели на них глубокое впечатление.

Они стали укладываться перед огнём, как бы собираясь спать.

— Что это? — спросил вдруг Костя, приподняв голову.

Павел прислушался.

— Это кулички летят, посвистывают.

— Куда ж они летят?

— А туда, где, говорят, зимы не бывает.

— А разве есть такая земля?

— Есть.

— Далеко?

— Далеко, далеко, за тёплыми морями.

Костя вздохнул и закрыл глаза.

Уже более трёх часов протекло с тех пор, как я присоседился к мальчикам. Месяц взошёл наконец; я его не тотчас заметил: так он был мал и узок. Эта безлунная ночь, казалось, была всё так же великолепна, как и прежде… Но уже склонились к тёмному краю земли многие звёзды, ещё недавно высоко стоявшие на небе; всё совершенно затихло кругом, как обыкновенно затихает всё только к утру: всё спало крепким, неподвижным, передрассветным сном. В воздухе уже не так сильно пахло, — в нём снова как будто разливалась сырость… Недолги летние ночи!.. Разговор мальчиков угасал вместе с огнями… Собаки даже

дремали; лошади, сколько я мог различить, при чуть брезжущем, слабо льющемся свете звёзд, тоже лежали, понурив головы… Сладкое забытьё напало на меня; оно перешло в дремоту.

Свежая струя пробежала по моему лицу. Я открыл глаза: утро зачиналось. Ещё нигде не румянилась заря, но уже забелелось на востоке. Всё стало видно, хотя смутно видно, кругом. Бледно-серое небо светлело, холодело, синело; звёзды то мигали слабым светом, то исчезали; отсырела земля, запотели листья, кое-где стали раздаваться живые звуки, голоса, и жидкий, ранний ветерок уже пошёл бродить и порхать над землёю. Тело моё ответило ему лёгкой, весёлой дрожью. Я проворно встал и подошёл к мальчикам. Они все спали как убитые вокруг тлеющего костра; один Павел приподнялся до половины и пристально поглядел на меня.

Я кивнул ему головой и пошёл восвояси вдоль задымившейся реки. Не успел я отойти двух вёрст, как уже полились кругом меня по широкому мокрому лугу, и спереди, по зазеленевшимся холмам, от лесу до лесу, и сзади по длинной пыльной дороге, по сверкающим, обагрённым кустам, и по реке, стыдливо синевшей из-под редеющего тумана, — полились сперва алые, потом красные,

золотые потоки молодого, горячего света… Всё зашевелилось, проснулось, запело, зашумело, заговорило. Всюду лучистыми алмазами зарделись крупные капли росы; мне навстречу, чистые и ясные, словно тоже обмытые утренней прохладой, принеслись звуки колокола, и вдруг мимо меня, погоняемый знакомыми мальчиками, промчался отдохнувший табун…

Я, к сожалению, должен прибавить, что в том же году Павла не стало. Он не утонул: он убился, упав с лошади. Жаль, славный был парень!

Бурмистр

Верстах в пятнадцати от моего именья живёт один мне знакомый человек, молодой помещик, гвардейский офицер в отставке, Аркадий Павлыч Пеночкин. Дичи у него в поместье водится много, дом построен по плану французского архитектора, люди одеты по-английски, обеды задаёт он отличные, принимает гостей ласково, а всё-таки неохотно к нему едешь. Он человек рассудительный и положительный, воспитанье получил, как водится, отличное, служил, в высшем обществе потёрся, а теперь хозяйством занимается с большим успехом. Аркадий Павлыч, говоря собственными его словами, строг, но справедлив, о благе подданных своих печётся и наказывает их — для их же блага. «С ними надобно обращаться, как с детьми, — говорит он в таком случае, — невежество, mon cher; il faut prendre cela en considération»[17]. Сам же, в случае так называемой печальной необходимости, резких и порывистых движений избегает и голоса возвышать не любит, но более тычет рукою пря-

[17] Примечания: 17
Перевод см. в конце книги.

мо, спокойно приговаривая: «Ведь я тебя просил, любезный мой» или: «Что с тобою, друг мой, опомнись», — причём только слегка стискивает зубы и кривит рот. Роста он небольшого, сложён щеголевато, собою весьма недурён, руки и ногти в большой опрятности содержит; с его румяных губ и щёк так и пышет здоровьем. Смеётся он звучно и беззаботно, приветливо щурит светлые, карие глаза. Одевается он отлично и со вкусом; выписывает французские книги, рисунки и газеты, но до чтения небольшой охотник: «Вечного жида» едва осилил. В карты играет мастерски. Вообще Аркадий Павлыч считается одним из образованнейших дворян и завиднейших женихов нашей губернии; дамы от него без ума и в особенности хвалят его манеры. Он удивительно хорошо себя держит, осторожен, как кошка, и ни в какую историю замешан отроду не бывал, хотя при случае дать себя знать и робкого человека озадачить и срезать любит. Дурным обществом решительно брезгает — скомпрометироваться боится; зато в весёлый час объявляет себя поклонником Эпикура, хотя вообще о философии отзывается дурно, называя её туманной пищей германских умов, а иногда и просто чепухой. Музыку он тоже любит; за картами поёт сквозь зубы, но с чувством; из Лю-

чии и Сомнамбулы тоже иное помнит, но что-то всё высоко забирает. По зимам он ездит в Петербург. Дом у него в порядке необыкновенном; даже кучера подчинились его влиянию и каждый день не только вытирают хомуты и армяки чистят, но и самим себе лицо моют. Дворовые люди Аркадия Павлыча посматривают, правда, что-то исподлобья, — но у нас на Руси угрюмого от заспанного не отличишь. Аркадий Павлыч говорит голосом мягким и приятным, с расстановкой и как бы с удовольствием пропуская каждое слово сквозь свои прекрасные, раздушенные усы; также употребляет много французских выражений, как-то; «Mais c'est impayable!»[18], «Mais comment donc!»[19] и пр. Со всем тем я, по крайней мере, не слишком охотно его посещаю, и если бы не тетерева и не куропатки, вероятно, совершенно бы с ним раззнакомился. Странное какое-то беспокойство овладевает вами в его доме; даже комфорт вас не радует, и всякий раз, вечером, когда появится перед вами завитый камердинер в голубой ливрее с гербовыми пуговицами и начнёт подобострастно стягивать с вас сапоги, вы чувствуете, что если бы

---

[18] Примечания: 18
Mais c'est impayable! — «Забавно!» (*Франц.*)

[19] Примечания: 19
Mais comment donc! — «Как же!» (*Франц.*)

вместо его бледной и сухопарой фигуры внезапно предстали перед вами изумительно широкие скулы и невероятно тупой нос молодого дюжего парня, только что взятого барином от сохи, но уже успевшего в десяти местах распороть по швам недавно пожалованный нанковый кафтан, — вы бы обрадовались несказанно и охотно бы подверглись опасности лишиться вместе с сапогом и собственной вашей ноги вплоть до самого вертлюга…



Бурмистръ: une forte tête, государственный человѣкъ.

Несмотря на моё нерасположение к Аркадию Павлычу, пришлось мне однажды провести у него ночь. На другой день я рано поутру велел

заложить свою коляску, но он не хотел меня отпустить без завтрака на английский манер и повёл к себе в кабинет. Вместе с чаем подали нам котлеты, яйца всмятку, масло, мёд, сыр и пр. Два камердинера, в чистых белых перчатках, быстро и молча предупреждали наши малейшие желания. Мы сидели на персидском диване. На Аркадии Павлыче были широкие шёлковые шаровары, чёрная бархатная куртка, красивый фес с синей кистью и китайские жёлтые туфли без задков. Он пил чай, смеялся, рассматривал свои ногти, курил, подкладывал себе подушки под бок и вообще чувствовал себя в отличном расположении духа. Позавтракавши плотно и с видимым удовольствием, Аркадий Павлыч налил себе рюмку красного вина, поднёс её к губам и вдруг нахмурился.

— Отчего вино не нагрето? — спросил он довольно резким голосом одного из камердинеров.

Камердинер смешался, остановился как вкопанный и побледнел.

— Ведь я тебя спрашиваю, любезный мой? — спокойно продолжал Аркадий Павлыч, не спуская с него глаз.

Несчастный камердинер помялся на месте, покрутил салфеткой и не сказал ни слова. Аркадий

Павлыч потупил голову и задумчиво посмотрел на него исподлобья.

— Pardon, mon cher[20], — промолвил он с приятной улыбкой, дружески коснувшись рукой до моего колена, и снова уставился на камердинера. — Ну, ступай, — прибавил он после небольшого молчания, поднял брови и позвонил.

Вошёл человек, толстый, смуглый, черноволосый, с низким лбом и совершенно заплывшими глазами.

— Насчёт Фёдора… распорядиться, — проговорил Аркадий Павлыч вполголоса и с совершённым самообладанием.

— Слушаю-с, — ответил толстый и вышел.

— Voila, mon cher, les désagréments de la campagne[21], — весело заметил Аркадий Павлыч. — Да куда же вы? Останьтесь, посидите ещё немного.

— Нет, — отвечал я, — мне пора.

— Всё на охоту! Ох, уж эти мне охотники! Да вы куда теперь едете?

— За сорок вёрст отсюда, в Рябово.

---

[20] Примечания: 20

Pardon, mon cher — Простите, мой дорогой (*франц.*).

[21] Примечания: 21

Voila, mon cher, les desagrements de la campagne — Вот, дорогой мой, неприятности деревенской жизни (*франц.*).

— В Рябово? Ах, боже мой, да в таком случае я с вами поеду. Рябово всего в пяти вёрстах от моей Шипиловки, а я таки давно в Шипиловке не бывал: всё времени улучить не мог. Вот как кстати пришлось: вы сегодня в Рябове поохотитесь, а вечером ко мне. Ce sera charmant[22]. Мы вместе поужинаем, — мы возьмём с собою повара, — вы у меня переночуете. Прекрасно! прекрасно! — прибавил он, не дождавшись моего ответа. — C'est arrangé[23]... Эй, кто там? Коляску нам велите заложить, да поскорей. Вы в Шипиловке не бывали? Я бы посовестился предложить вам провести ночь в избе моего бурмистра, да вы, я знаю, неприхотливы и в Рябове в сенном бы сарае ночевали... Едем, едем!

И Аркадий Павлыч запел какой-то французский романс.

— Ведь вы, может быть, не знаете, — продолжал он, покачиваясь на обеих ногах, — у меня там мужики на оброке. Конституция — что будешь делать? Однако оброк мне платят исправно. Я бы их, признаться, давно на барщину ссадил, да земли мало! Я и так удивляюсь, как они концы

---

[22] Примечания: 22
Ce sera charmant — Это будет прелестно. (*Франц.*)

[23] Примечания: 23
C'est arrangé... — Всё устроено... (Франц.)

с концами сводят. Впрочем, c'est leur affaire[24]. Бурмистр у меня там молодец, une forte tête[25], государственный человек! Вы увидите... Как, право, это хорошо пришлось!

Делать было нечего. Вместо девяти часов утра мы выехали в два. Охотники поймут моё нетерпенье. Аркадий Павлыч любил, как он выражался, при случае побаловать себя и забрал с собою такую бездну белья, припасов, платья, духов, подушек и разных несессеров, что иному бережливому и владеющему собою немцу хватило бы всей этой благодати на год. При каждом спуске с горы Аркадий Павлыч держал краткую, но сильную речь кучеру, из чего я мог заключить, что мой знакомец порядочный трус. Впрочем, путешествие совершилось весьма благополучно; только на одном недавно починенном мостике телега с поваром завалилась, и задним колесом ему придавило желудок.

Аркадий Павлыч, при виде падения доморощенного Карема, испугался не на шутку и тотчас велел спросить: целы ли у него руки? Получив же ответ утвердительный, немедленно успокоился.

---

[24] Примечания: 24
c'est leur affaire — это их дело (франц.).

[25] Примечания: 25
une forte tête — умная голова (франц.).

Со всем тем, ехали мы довольно долго; я сидел в одной коляске с Аркадием Павлычем и под конец путешествия почувствовал тоску смертельную, тем более, что в течение нескольких часов мой знакомец совершенно выдохся и начинал уже либеральничать. Наконец мы приехали, только не в Рябово, а прямо в Шипиловку; как-то оно так вышло. В тот день я и без того уже поохотиться не мог и потому скрепя сердце покорился своей участи.

Повар приехал несколькими минутами ранее нас и, по-видимому, уже успел распорядиться и предупредить кого следовало, потому что при самом въезде в околицу встретил нас староста (сын бурмистра), дюжий и рыжий мужик в косую сажень ростом, верхом и без шапки, в новом армяке нараспашку. «А где же Софрон?» — спросил его Аркадий Павлыч. Староста сперва проворно соскочил с лошади, поклонился барину в пояс, промолвил: «Здравствуйте, батюшка Аркадий Павлыч», — потом приподнял голову, встряхнулся и доложил, что Софрон отправился в Перов, но что за ним уже послали. «Ну, ступай за нами», — сказал Аркадий Павлыч. Староста отвёл из приличия лошадь в сторону, взвалился на неё и пустился рысцой за коляской, держа шапку в ру-

ке. Мы поехали по деревне. Несколько мужиков в пустых телегах попались нам навстречу; они ехали с гумна и пели песни, подпрыгивая всем телом и болтая ногами на воздухе; но при виде нашей коляски и старосты внезапно умолкли, сняли свои зимние шапки (дело было летом) и приподнялись, как бы ожидая приказаний. Аркадий Павлыч милостиво им поклонился. Тревожное волнение видимо распространялось по селу. Бабы в клетчатых понёвах швыряли щепками в недогадливых или слишком усердных собак; хромой старик с бородой, начинавшейся под самыми глазами, оторвал недопоенную лошадь от колодезя, ударил её неизвестно за что по боку, а там уже поклонился. Мальчишки в длинных рубашонках с воплем бежали в избы, ложились брюхом на высокий порог, свешивали головы, закидывали ноги кверху и таким образом весьма проворно перекатывались за дверь, в тёмные сени, откуда уже и не показывались. Даже курицы стремились ускоренной рысью в подворотню; один бойкий петух с чёрной грудью, похожей на атласный жилет, и красным хвостом, закрученным на самый гребень, остался было на дороге и уже совсем собрался кричать, да вдруг сконфузился и тоже побежал. Изба бурмистра стояла в стороне от

других, посреди густого зелёного конопляника. Мы остановились перед воротами. Г-н Пеночкин встал, живописно сбросил с себя плащ и вышел из коляски, приветливо озираясь кругом. Бурмистрова жена встретила нас с низкими поклонами и подошла к барской ручке. Аркадий Павлыч дал ей нацеловаться вволю и взошёл на крыльцо. В сенях, в тёмном углу, стояла старостиха и тоже поклонилась, но к руке подойти не дерзнула. В так называемой холодной избе — из сеней направо — уже возились две другие бабы; они выносили оттуда всякую дрянь, пустые жбаны, одеревенелые тулупы, масленые горшки, люльку с кучей тряпок и пёстрым ребёнком, подметали банными вениками сор. Аркадий Павлыч выслал их вон и поместился на лавке под образами. Кучера начали вносить сундуки, ларцы и прочие удобства, всячески стараясь умерить стук своих тяжёлых сапогов.

Между тем Аркадий Павлыч расспрашивал старосту об урожае, посеве и других хозяйственных предметах. Староста отвечал удовлетворительно, но как-то вяло и неловко, словно замороженными пальцами кафтан застёгивал. Он стоял у дверей и то и дело сторонился и оглядывался, давая дорогу проворному камердинеру. Из-за его

могущественных плеч удалось мне увидеть, как бурмистрова жена в сенях втихомолку колотила какую-то другую бабу. Вдруг застучала телега и остановилась перед крыльцом: вошёл бурмистр.

Этот, по словам Аркадия Павлыча, государственный человек был роста небольшого, плечист, сед и плотен, с красным носом, маленькими голубыми глазами и бородой в виде веера. Заметим кстати, что с тех пор, как Русь стоит, не бывало ещё на ней примера раздобревшего и разбогатевшего человека без окладистой бороды; иной весь свой век носил бородку жидкую, клином, — вдруг, смотришь, обложился кругом словно сияньем, — откуда волос берётся! Бурмистр, должно быть, в Перове подгулял: и лицо-то у него отекло порядком, да и вином от него попахивало.

— Ах вы, отцы наши, милостивцы вы наши, — заговорил он нараспев и с таким умилением на лице, что вот-вот, казалось, слёзы брызнут, — насилу-то изволили пожаловать!.. Ручку, батюшка, ручку, — прибавил он, уже загодя протягивая губы.

Аркадий Павлыч удовлетворил его желание.

— Ну, что, брат Софрон, каково у тебя дела идут? — спросил он ласковым голосом.

— Ах вы, отцы наши, — воскликнул Софрон, —

да как же им худо идти, делам-то! Да ведь вы, наши отцы, вы, милостивцы, деревеньку нашу просветить изволили приездом-то своим, осчастливили по гроб дней. Слава тебе господи, Аркадий Павлыч, слава тебе господи! Благополучно обстоит всё милостью вашей.

Тут Софрон помолчал, поглядел на барина и, как бы снова увлечённый порывом чувства (притом же и хмель брал своё), в другой раз попросил руки и запел пуще прежнего:

— Ах вы, отцы наши, милостивцы… и… уж что! Ей-богу, совсем дураком от радости стал… Ей-богу, смотрю да не верю… Ах вы, отцы наши!

Аркадий Павлыч глянул на меня, усмехнулся и спросил: «N'est-ce pas que c'est touchant?»[26]

— Да, батюшка, Аркадий Павлыч, — продолжал неугомонный бурмистр, — как же вы это? Сокрушаете вы меня совсем, батюшка; известить меня не изволили о вашем приезде-то. Где же вы ночку-то проведёте? Ведь тут нечистота, сор…

— Ничего, Софрон, ничего, — с улыбкой отвечал Аркадий Павлыч, — здесь хорошо.

— Да ведь, отцы вы наши, — для кого хорошо? Для нашего брата, мужика, хорошо; а ведь вы…

---

[26] Примечания: 26

N'est-ce pas que c'est touchant? — «Не правда ли, это трогательно?» (*Франц.*)

ах вы, отцы мои, милостивцы, ах вы, отцы мои!.. Простите меня, дурака, с ума спятил, ей-богу, одурел вовсе.

Между тем подали ужин; Аркадий Павлыч начал кушать. Сына своего старик прогнал — дескать, духоты напущаешь.

— Ну что, размежевался, старина? — спросил г-н Пеночкин, который явно желал подделаться под мужицкую речь и мне подмигивал.

— Размежевались, батюшка, всё твоею милостью. Третьего дня сказку подписали. Хлыновские-то сначала поломались… поломались, отец, точно. Требовали… требовали… и бог знает, чего требовали; да ведь дурачьё, батюшка, народ глупый. А мы, батюшка, милостью твоею благодарность заявили и Миколая Миколаича посредственника удоблетворили; всё по твоему приказу действовали, батюшка; как ты изволил приказать, так мы и действовали, и с ведома Егора Дмитрича всё действовали.

— Егор мне докладывал, — важно заметил Аркадий Павлыч.

— Как же, батюшка, Егор Дмитрич, как же.

— Ну, и стало быть, вы теперь довольны?

Софрон только того и ждал.

— Ах вы, отцы наши, милостивцы наши! — за-

пел он опять… — Да помилуйте вы меня… да ведь мы за вас, отцы наши, денно и нощно господу богу молимся… Земли, конечно, маловато…

Пеночкин перебил его:

— Ну, хорошо, хорошо, Софрон, знаю, ты мне усердный слуга… А что, как умолот?

Софрон вздохнул.

— Ну, отцы вы наши, умолот-то не больно хорош. Да что, батюшка Аркадий Павлыч, позвольте вам доложить, дельцо какое вышло. (Тут он приблизился, разводя руками, к господину Пеночкину, нагнулся и прищурил один глаз.) Мёртвое тело на нашей земле оказалось.

— Как так?

— И сам ума не приложу, батюшка, отцы вы наши: видно, враг попутал. Да, благо, подле чужой межи оказалось; а только, что греха таить, на нашей земле. Я его тотчас на чужой-то клин и приказал стащить, пока можно было, да караул приставил и своим заказал: молчать! — говорю. А становому на всякий случай объяснил: вот какие порядки, говорю; да чайком его, да благодарность… Ведь что, батюшка, думаете? Ведь осталось у чужаков на шее; а ведь мёртвое тело, что двести рублев — как калач.

Г-н Пеночкин много смеялся уловке своего бур-

мистра и несколько раз сказал мне, указывая на него головой: «Quel gaillard, а?»[27]

Между тем на дворе совсем стемнело; Аркадий Павлыч велел со стола прибирать и сена принести. Камердинер постлал нам простыни, разложил подушки; мы легли. Софрон ушёл к себе, получив приказание на следующий день. Аркадий Павлыч, засыпая, ещё потолковал немного об отличных качествах русского мужика и тут же заметил мне, что со времени управления Софрона за шипиловскими крестьянами не водится ни гроша недоимки… Сторож заколотил в доску; ребёнок, видно ещё не успевший проникнуться чувством должного самоотверженья, запищал где-то в избе… Мы заснули.

На другой день утром мы встали довольно рано. Я было собрался ехать в Рябово, но Аркадий Павлыч желал показать мне своё именье и упросил меня остаться. Я и сам был не прочь убедиться на деле в отличных качествах государственного человека — Софрона. Явился бурмистр. На нём был синий армяк, подпоясанный красным кушаком. Говорил он гораздо меньше вчерашнего, глядел зорко и пристально в глаза барину, отвечал

---

[27] Примечания: 27
Quel gaillard, а? — «Каков молодец, а?» (Франц.)

складно и дельно. Мы вместе с ним отправились на гумно. Софронов сын, трёхаршинный староста, по всем признакам человек весьма глупый, также пошёл за нами, да ещё присоединился к нам земский Федосеич, отставной солдат с огромными усами и престранным выражением лица: точно он весьма давно тому назад чему-то необыкновенно удивился да с тех пор уж и не пришёл в себя. Мы осмотрели гумно, ригу, овины, сараи, ветряную мельницу, скотный двор, зеленя, конопляники; всё было действительно в отличном порядке, одни унылые лица мужиков приводили меня в некоторое недоумение. Кроме полезного, Софрон заботился ещё о приятном: все канавы обсадил ракитником, между скирдами на гумне дорожки провёл и песочком посыпал, на ветряной мельнице устроил флюгер в виде медведя с разинутой пастью и красным языком, к кирпичному скотному двору прилепил нечто вроде греческого фронтона и под фронтоном белилами надписал: «Пастроен вселе Шипилофке втысеча восем Сод саракавом году. Сей скотный дфор». — Аркадий Павлыч разнежился совершенно, пустился излагать мне на французском языке выгоды оброчного состоянья, причём, однако, заметил, что барщина для помещиков

выгоднее, — да мало ли чего нет!.. Начал давать бурмистру советы, как сажать картофель, как для скотины корм заготовлять и пр. Софрон выслушивал барскую речь со вниманием, иногда возражал, но уже не величал Аркадия Павлыча ни отцом, ни милостивцем и всё напирал на то, что земли-де у них маловато, прикупить бы не мешало. «Что ж, купите, — говорил Аркадий Павлыч, — на моё имя, я не прочь». На эти слова Софрон не отвечал ничего, только бороду поглаживал. «Однако теперь бы не мешало съездить в лес», — заметил г-н Пеночкин. Тотчас привели нам верховых лошадей; мы поехали в лес, или, как у нас говорится, в «заказ». В этом «заказе» нашли мы глушь и дичь страшную, за что Аркадий Павлыч похвалил Софрона и потрепал его по плечу. Г-н Пеночкин придерживался насчёт лесоводства русских понятий и тут же рассказал мне презабавный, по его словам, случай, как один шутник-помещик вразумил своего лесника, выдрав у него около половины бороды, в доказательство того, что от подрубки лес гуще не вырастает… Впрочем, в других отношениях и Софрон и Аркадий Павлыч — оба не чуждались нововведений. По возвращении в деревню бурмистр повёл нас посмотреть веялку, недавно

выписанную им из Москвы. Веялка, точно, действовала хорошо, но если бы Софрон знал, какая неприятность ожидала и его и барина на этой последней прогулке, он, вероятно, остался бы с нами дома.



Трехъ аршинный староста
человѣкъ весьма глупый

Вот что случилось. Выходя из сарая, увидали мы следующее зрелище. В нескольких шагах от двери, подле грязной лужи, в которой беззаботно плескались три утки, стояло на коленках два мужика: один — старик лет шестидесяти, другой — малый лет двадцати, оба в замашных заплатанных рубахах, на босу ногу и подпоясанные верёвками. Земский Федосеич усердно хлопотал около них и, вероятно, успел бы уговорить их удалиться, если б мы замешкались в сарае, но, увидев нас, он вытянулся в струнку и замер на месте. Тут же стоял староста с разинутым ртом и недоумевающими кулаками. Аркадий Павлыч нахмурился, закусил губу и подошёл к просителям. Оба молча поклонились ему в ноги.

— Что вам надобно? о чём вы просите? — спросил он строгим голосом и несколько в нос. (Мужики взглянули друг на друга и словечка не промолвили, только прищурились, словно от солнца, да поскорей дышать стали.)

— Ну, что же? — продолжал Аркадий Павлыч и тотчас же обратился к Софрону. — Из какой семьи?

— Из Тоболеевой семьи, — медленно отвечал бурмистр.

— Ну, что же вы? — заговорил опять г. Пеноч-

кин. — Языков у вас нет, что ли? Сказывай ты, чего тебе надобно? — прибавил он, качнув головой на старика. — Да не бойся, дурак.

Старик вытянул свою тёмно-бурую, сморщенную шею, криво разинул посиневшие губы, сиплым голосом произнёс: «Заступись, государь!» — и снова стукнул лбом в землю. Молодой мужик тоже поклонился. Аркадий Павлыч с достоинством посмотрел на их затылки, закинул голову и расставил немного ноги.

— Что такое? На кого ты жалуешься?

— Помилуй, государь! Дай вздохнуть… Замучены совсем. (Старик говорил с трудом.)

— Кто тебя замучил?

— Да Софрон Яковлич, батюшка.

Аркадий Павлыч помолчал.

— Как тебя зовут?

— Антипом, батюшка.

— А это кто?

— А сынок мой, батюшка.

Аркадий Павлыч помолчал опять и усами повёл.

— Ну, так чем же он тебя замучил? — заговорил он, глядя на старика сквозь усы.

— Батюшка, разорил вконец. Двух сыновей, батюшка, без очереди в некруты отдал, а теперя и

третьего отнимает. Вчера, батюшка, последнюю коровушку со двора свёл и хозяйку мою избил — вон его милость. (Он указал на старосту.)

— Гм! — произнёс Аркадий Павлыч.

— Не дай вконец разориться, кормилец.

Г-н Пеночкин нахмурился.

— Что же это, однако, значит? — спросил он бурмистра вполголоса и с недовольным видом.

— Пьяный человек-с, — отвечал бурмистр, в первый раз употребляя «слово-ер», — неработящий. Из недоимки не выходит вот уж пятый год-с.

— Софрон Яковлич за меня недоимку взнёс, батюшка, — продолжал старик, — вот пятый годочек пошёл, как взнёс, а как взнёс — в кабалу меня и забрал, батюшка, да вот и…

— А отчего недоимка за тобой завелась? — грозно спросил г. Пеночкин. (Старик понурил голову.) — Чай, пьянствовать любишь, по кабакам шататься? (Старик разинул было рот.) Знаю я вас, — с запальчивостью продолжал Аркадий Павлыч, — ваше дело пить да на печи лежать, а хороший мужик за вас отвечай.

— И грубиян тоже, — ввернул бурмистр в господскую речь.

— Ну, уж это само собою разумеется. Это всегда

так бывает; это уж я не раз заметил. Целый год распутствует, грубит, а теперь в ногах валяется.

— Батюшка, Аркадий Павлыч, — с отчаяньем заговорил старик, — помилуй, заступись, — какой я грубиян? Как перед господом богом говорю, невмоготу приходится. Невзлюбил меня Софрон Яковлич, за что невзлюбил — господь ему судья! Разоряет вконец, батюшка… Последнего вот сыночка… и того… (На жёлтых и сморщенных глазах старика сверкнула слезинка.) Помилуй, государь, заступись.

— Да и не нас одних, — начал было молодой мужик…

Аркадий Павлыч вдруг вспыхнул:

— А тебя кто спрашивает, а? Тебя не спрашивают, так ты молчи… Это что такое? Молчать, говорят тебе! молчать!.. Ах, боже мой! да это просто бунт. Нет, брат, у меня бунтовать не советую… у меня… (Аркадий Павлыч шагнул вперёд, да, вероятно, вспомнил о моём присутствии, отвернулся и положил руки в карманы.) Je vous demande bien pardon, mon cher[28], — сказал он с принуждённой улыбкой, значительно понизив

[28] Примечания: 28

Je vous demande bien pardon, mon cher — Прошу извинить меня, дорогой мой (*франц.*).

голос. — C'est le mauvais côté de la médaille...[29] Ну, хорошо, хорошо, — продолжал он, не глядя на мужиков, — я прикажу... хорошо, ступайте. (Мужики не поднимались.) Ну, да ведь я сказал вам... хорошо. Ступайте же, я прикажу, говорят вам.

Аркадий Павлыч обернулся к ним спиной. «Вечно неудовольствия», — проговорил он сквозь зубы и пошёл большими шагами домой. Софрон отправился вслед за ним. Земский выпучил глаза, словно куда-то очень далеко прыгнуть собирался. Староста выпугнул уток из лужи. Просители постояли ещё немного на месте, посмотрели друг на друга и поплелись, не оглядываясь, восвояси.

Часа два спустя я уже был в Рябове и вместе с Анпадистом, знакомым мне мужиком, собирался на охоту. До самого моего отъезда Пеночкин дулся на Софрона. Заговорил я с Анпадистом о шипиловских крестьянах, о г. Пеночкине, спросил его, не знает ли он тамошнего бурмистра.

— Софрона-то Яковлича?.. вона!

— А что он за человек?

— Собака, а не человек; такой собаки до самого Курска не найдёшь.

— А что?

---

[29] Примечания: 29

C'est le mauvais cote de la medaille... — Это оборотная сторона медали... (*Франц.*)

— Да ведь Шипиловка только что числится за тем, как бишь его, за Пенкиным-то; ведь не он ей владеет: Софрон владеет.

— Неужто?

— Как своим добром владеет. Крестьяне ему кругом должны; работают на него словно батраки: кого с обозом посылает, кого куды… затормошил совсем.

— Земли у них, кажется, немного?

— Немного? Он у одних хлыновских восемьдесят десятин нанимает да у наших сто двадцать; вот те и целых полтораста десятин. Да он не одной землёй промышляет: и лошадьми промышляет, и скотом, и дёгтем, и маслом, и пенькой, и чем-чем… Умён, больно умён, и богат же, бестия? Да вот чем плох — дерётся. Зверь — не человек; сказано: собака, пёс, как есть пёс.

— Да что ж они на него не жалуются?

— Экста! Барину-то что за нужда! Недоимок не бывает, так ему что? Да, поди ты, — прибавил он после небольшого молчания, — пожалуйся. Нет, он тебя… да, поди-ка… Нет уж, он тебя вот как, того…

Я вспомнил про Антипа и рассказал ему, что видел.

— Ну, — промолвил Анпадист, — заест он его

теперь; заест человека совсем. Староста теперь его забьёт. Экой бесталанный, подумаешь, бедняга! И за что терпит… На сходке с ним повздорил, с бурмистром-то, невтерпёж, знать, пришлось… Велико дело! Вот он его, Антипа-то, клевать и начал. Теперь доедет. Ведь он такой пёс, собака, прости, господи, моё прегрешенье, знает, на кого налечь. Стариков-то, что побогаче да посемейнее, не трогает, лысый чёрт, а тут вот и расходился! Ведь он Антиповых-то сыновей без очереди в некруты отдал, мошенник беспардонный, пёс, прости, господи, моё прегрешенье!

Мы отправились на охоту.

Зальцбрунн, в Силезии, июль, 1847 г.

Два помещика

Я уже имел честь представить вам, благосклонные читатели, некоторых моих господ соседей; позвольте же мне теперь, кстати (для нашего брата писателя всё кстати), познакомить вас ещё с двумя помещиками, у которых я часто охотился, с людьми весьма почтенными, благонамеренными и пользующимися всеобщим уважением нескольких уездов.

Сперва опишу вам отставного генерал-майора Вячеслава Илларионовича Хвалынского. Представьте себе человека высокого и когда-то стройного, теперь же несколько обрюзглого, но вовсе не дряхлого, даже не устарелого, человека в зрелом возрасте, в самой, как говорится, поре. Правда, некогда правильные и теперь ещё приятные черты лица его немного изменились, щёки повисли, частые морщины лучеобразно расположились около глаз, иных зубов уже нет, как сказал Саади, по уверению Пушкина; русые волосы, по крайней мере все те, которые остались в целости, превратились в лиловые благодаря составу, купленному на Роменской конной ярмарке у жида, выдававшего себя за армянина: но Вя-

чеслав Илларионович выступает бойко, смеётся звонко, позвякивает шпорами, крутит усы, наконец называет себя старым кавалеристом, между тем как известно, что настоящие старики сами никогда себя не называют стариками. Носит он обыкновенно сюртук, застёгнутый доверху, высокий галстух с накрахмаленными воротничками и панталоны серые с искрой, военного покроя; шляпу же надевает прямо на лоб, оставляя весь затылок наружи. Человек он очень добрый, но с понятиями и привычками довольно странными. Например: он никак не может обращаться с дворянами небогатыми или нечиновными, как с равными себе людьми. Разговаривая с ними, он обыкновенно глядит на них сбоку, сильно опираясь щекою в твёрдый и белый воротник, или вдруг возьмёт да озарит их ясным и неподвижным взором, помолчит и двинет всею кожей под волосами на голове; даже слова иначе произносит и не говорит, например: «Благодарю, Павел Васильич», или: «Пожалуйте сюда, Михайло Иваныч», а: «Боллдарю, Палл Асилич», или: «Па-ажалте сюда, Михал Ваныч». С людьми же, стоящими на низших ступенях общества, он обходится ещё страннее: вовсе на них не глядит и, прежде чем объяснит им своё желание или отдаст приказ,

несколько раз сряду, с озабоченным и мечтательным видом, повторит: «Как тебя зовут?.. как тебя зовут?», ударяя необыкновенно резко на первом слове «как», а остальные произнося очень быстро, что придаёт всей поговорке довольно близкое сходство с криком самца-перепела. Хлопотун он и жила страшный, а хозяин плохой: взял к себе в управители отставного вахмистра, малоросса, необыкновенно глупого человека. Впрочем, в деле хозяйничества никто у нас ещё не перещеголял одного петербургского важного чиновника, который, усмотрев из донесений своего приказчика, что овины у него в имении часто подвергаются пожарам, отчего много хлеба пропадает, — отдал строжайший приказ: вперёд до тех пор не сажать снопов в овин, пока огонь совершенно не погаснет. Тот же самый сановник вздумал было засеять все свои поля маком, вследствие весьма, по-видимому, простого расчёта: мак, дескать, дороже ржи, следовательно, сеять мак выгоднее. Он же приказал своим крепостным бабам носить кокошники по высланному из Петербурга образцу; и действительно, до сих пор в имениях его бабы носят кокошники… только сверху кичек… Но возвратимся к Вячеславу Илларионовичу. Вячеслав Илларионович

ужасный охотник до прекрасного пола и, как только увидит у себя в уездном городе на бульваре хорошенькую особу, немедленно пустится за нею вслед, но тотчас же и захромает, — вот что замечательное обстоятельство. В карты играть он любит, но только с людьми звания низшего; они-то ему: «Ваше превосходительство», а он-то их пушит и распекает, сколько душе его угодно. Когда ж ему случится играть с губернатором или с каким-нибудь чиновным лицом — удивительная происходит в нём перемена: и улыбается-то он, и головой кивает, и в глаза-то им глядит — мёдом так от него и несёт… Даже проигрывает и не жалуется. Читает Вячеслав Илларионыч мало, при чтении беспрестанно поводит усами и бровями, сперва усами, потом бровями, словно волну снизу вверх по лицу пускает. Особенно замечательно это волнообразное движение на лице Вячеслава Илларионыча, когда ему случается (при гостях, разумеется) пробегать столбцы «Journal des Débats». На выборах играет он роль довольно значительную, но от почётного звания предводителя по скупости отказывается. «Господа, — говорит он обыкновенно приступающим к нему дворянам, и говорит голосом, исполненным покровительства и самостоятельности, — много

благодарен за честь; но я решился посвятить свой досуг уединению». И, сказавши эти слова, поведёт головой несколько раз направо и налево, а потом с достоинством наляжет подбородком и щеками на галстух. Состоял он в молодые годы адъютантом у какого-то значительного лица, которого иначе и не называет как по имени и по отчеству; говорят, будто бы он принимал на себя не одни адъютантские обязанности, будто бы, например, облачившись в полную парадную форму и даже застегнув крючки, парил своего начальника в бане — да не всякому слуху можно верить. Впрочем, и сам генерал Хвалынский о своём служебном поприще не любит говорить, что вообще довольно странно; на войне он тоже, кажется, не бывал. Живёт генерал Хвалынский в небольшом домике, один; супружеского счастья он в своей жизни не испытал и потому до сих пор ещё считается женихом, и даже выгодным женихом. Зато ключница у него, женщина лет тридцати пяти, черноглазая, чернобровая, полная, свежая и с усами, по буднишним дням ходит в накрахмаленных платьях, а по воскресеньям и кисейные рукава надевает. Хорош бывает Вячеслав Илларионович на больших званых обедах, даваемых помещиками в честь губернаторов и

других властей: тут он, можно сказать, совершенно в своей тарелке. Сидит он обыкновенно в таких случаях если не по правую руку губернатора, то и не в далёком от него расстоянии; в начале обеда более придерживается чувства собственного достоинства и, закинувшись назад, но не оборачивая головы, сбоку пускает взор вниз по круглым затылкам и стоячим воротникам гостей; зато к концу стола развеселяется, начинает улыбаться во все стороны (в направлении губернатора он с начала обеда улыбался), а иногда даже предлагает тост в честь прекрасного пола, украшения нашей планеты, по его словам. Также недурён генерал Хвалынский на всех торжественных и публичных актах, экзаменах, собраньях и выставках; под благословение тоже подходить мастер. На разъездах, переправах и в других тому подобных местах люди Вячеслава Илларионыча не шумят и не кричат; напротив, раздвигая народ или вызывая карету, говорят приятным горловым баритоном: «Позвольте, позвольте, дайте генералу Хвалынскому пройти», или: «Генерала Хвалынского экипаж…» Экипаж, правда, у Хвалынского формы довольно старинной; на лакеях ливрея довольно потёртая (о том, что она серая с красными выпушками, кажется, едва ли нужно

упомянуть); лошади тоже довольно пожили и послужили на своём веку, но на щегольство Вячеслав Илларионыч притязаний не имеет и не считает даже званию своему приличным пускать пыль в глаза. Особенным даром слова Хвалынский не владеет или, может быть, не имеет случая выказать своё красноречие, потому что не только спора, но вообще возраженья не терпит и всяких длинных разговоров, особенно с молодыми людьми, тщательно избегает. Оно действительно вернее; а то с нынешним народом беда: как раз из повиновения выйдет и уважение потеряет. Перед лицами высшими Хвалынский большей частью безмолвствует, а к лицам низшим, которых, по-видимому, презирает, но с которыми только и знается, держит речи отрывистые и резкие, беспрестанно употребляя выраженья, подобные следующим: «Это, однако, вы пус-тяки говорите»; или: «Я наконец вынужденным нахожусь, милосвый сдарь мой, вам поставить на вид»; или: «Наконец вы должны, однако же, знать, с кем имеете дело», и пр. Особенно боятся его почтмейстеры, непременные заседатели и станционные смотрители. Дома он у себя никого не принимает и живёт, как слышно, скрягой. Со всем тем он прекрасный помещик. «Старый

служака, человек бескорыстный, с правилами, vieux grognard»[30], — говорят про него соседи. Один прокурор губернский позволяет себе улыбаться, когда при нём упоминают об отличных и солидных качествах генерала Хвалынского, — да чего не делает зависть!..

А впрочем, перейдём теперь к другому помещику.

Мардарий Аполлоныч Стегунов ни в чём не походил на Хвалынского; он едва ли где-нибудь служил и никогда красавцем не почитался. Мардарий Аполлоныч — старичок низенький, пухленький, лысый, с двойным подбородком, мягкими ручками и порядочным брюшком. Он большой хлебосол и балагур; живёт, как говорится, в своё удовольствие; зиму и лето ходит в полосатом шлафроке на вате. В одном он только сошёлся с генералом Хвалынским: он тоже холостяк. У него пятьсот душ. Мардарий Аполлоныч занимается своим именьем довольно поверхностно; купил, чтобы не отстать от века, лет десять тому назад, у Бутенопа в Москве молотильную машину, запер её в сарай, да и успокоился. Разве в хороший летний день велит заложить беговые

---

[30] Примечания: 30
vieux grognard — старый ворчун (*франц.*).

дрожки и съездит в поле на хлеба посмотреть да васильков нарвать. Живёт Мардарий Аполлоныч совершенно на старый лад. И дом у него старинной постройки: в передней, как следует, пахнет квасом, сальными свечами и кожей; тут же направо буфет с трубками и утиральниками; в столовой фамильные портреты, мухи, большой горшок ерани и кислые фортопьяны; в гостиной три дивана, три стола, два зеркала и сиплые часы, с почерневшей эмалью и бронзовыми, резными стрелками; в кабинете стол с бумагами, ширмы синеватого цвета с наклеенными картинками, вырезанными из разных сочинений прошедшего столетия, шкапы с вонючими книгами, пауками и чёрной пылью, пухлое кресло, итальянское окно да наглухо заколоченная дверь в сад… Словом, всё как водится. Людей у Мардария Аполлоныча множество, и все одеты по-старинному: в длинные синие кафтаны с высокими воротниками, панталоны мутного колорита и коротенькие желтоватые жилетцы. Гостям они говорят: «батюшка». Хозяйством у него заведывает бурмистр из мужиков, с бородой во весь тулуп; домом — старуха, повязанная коричневым платком, сморщенная и скупая. На конюшне у Мардария Аполлоныча стоит тридцать разнокалиберных

лошадей; выезжает он в домоделанной коляске в полтораста пуд. Гостей принимает он очень радушно и угощает на славу, то есть: благодаря одуряющим свойствам русской кухни, лишает их вплоть до самого вечера всякой возможности заняться чем-нибудь, кроме преферанса. Сам же никогда ничем не занимается и даже «Сонник» перестал читать. Но таких помещиков у нас на Руси ещё довольно много; спрашивается: с какой стати я заговорил о нём и зачем?.. А вот позвольте вместо ответа рассказать вам одно из моих посещений у Мардария Аполлоныча.

Приехал я к нему летом, часов в семь вечера. У него только что отошла всенощная, и священник, молодой человек, по-видимому, весьма робкий и недавно вышедший из семинарии, сидел в гостиной возле двери, на самом краюшке стула. Мардарий Аполлоныч, по обыкновению, чрезвычайно ласково меня принял: он непритворно радовался каждому гостю, да и человек он был вообще предобрый. Священник встал и взялся за шляпу.

— Погоди, погоди, батюшка, — заговорил Мардарий Аполлоныч, не выпуская моей руки, — не уходи… Я велел тебе водки принести.

— Я не пью-с, — с замешательством пробормо-

тал священник и покраснел до ушей.

— Что за пустяки! Как в вашем званье не пить! — отвечал Мардарий Аполлоныч. — Мишка! Юшка! водки батюшке!

Юшка, высокий и худощавый старик лет восьмидесяти, вошёл с рюмкой водки на тёмном крашеном подносе, испещрённом пятнами телесного цвета.

Священник начал отказываться.

— Пей, батюшка, не ломайся, нехорошо, — заметил помещик с укоризной.

Бедный молодой человек повиновался.

— Ну, теперь, батюшка, можешь идти.

Священник начал кланяться.

— Ну, хорошо, хорошо, ступай… Прекрасный человек, — продолжал Мардарий Аполлоныч, глядя ему вслед, — очень я им доволен; одно — молод ещё. Всё проповеди держит, да вот вина не пьёт. Но вы-то как, мой батюшка?.. Что вы, как вы? Пойдёмте-ка на балкон — вишь, вечер какой славный.

Мы вышли на балкон, сели и начали разговаривать. Мардарий Аполлоныч взглянул вниз и вдруг пришёл в ужасное волненье.

— Чьи это куры? чьи это куры? — закричал он. — Чьи это куры по саду ходят?.. Юшка! Юшка!

поди узнай сейчас, чьи это куры по саду ходят?.. Чьи это куры? Сколько раз я запрещал, сколько раз говорил!

Юшка побежал.

— Что за беспорядки! — твердил Мардарий Аполлоныч, — это ужас!

Несчастные куры, как теперь помню, две крапчатые и одна белая с хохлом, преспокойно продолжали ходить под яблонями, изредка выражая свои чувства продолжительным крехтаньем, как вдруг Юшка, без шапки, с палкой в руке, и трое других совершеннолетних дворовых, все вместе дружно ринулись на них. Пошла потеха. Курицы кричали, хлопали крыльями, прыгали, оглушительно кудахтали; дворовые люди бегали, спотыкались, падали; барин с балкона кричал как исступлённый: «Лови, лови! лови, лови! лови, лови, лови!.. Чьи это куры, чьи это куры?» Наконец одному дворовому человеку удалось поймать хохлатую курицу, придавив её грудью к земле, и в то же самое время через плетень сада, с улицы, перескочила девочка лет одиннадцати, вся растрёпанная и с хворостиной в руке.

— А, вот чьи куры! — с торжеством воскликнул помещик. — Ермила-кучера куры! Вон он свою Наталку загнать их выслал… Небось Параши не

выслал, — присовокупил помещик вполголоса и значительно ухмыльнулся. — Эй, Юшка! брось куриц-то: поймай-ка мне Наталку.

Но прежде чем запыхавшийся Юшка успел добежать до перепуганной девчонки — откуда ни возьмись ключница, схватила её за руку и несколько раз шлёпнула бедняжку по спине…

— Вот тэк, э вот тэк, — подхватил помещик, — те, те, те! те, те, те!.. А кур-то отбери, Авдотья, — прибавил он громким голосом и со светлым лицом обратился ко мне: — Какова, батюшка, травля была, ась? Вспотел даже, посмотрите.

И Мардарий Аполлоныч расхохотался.

Мы остались на балконе. Вечер был действительно необыкновенно хорош.

Нам подали чай.

— Скажите-ка, — начал я, — Мардарий Аполлоныч, ваши это дворы выселены, вон там, на дороге, за оврагом?

— Мои… а что?

— Как же это вы, Мардарий Аполлоныч? Ведь это грешно. Избёнки отведены мужикам скверные, тесные; деревца кругом не увидишь: са́жалки даже нету; колодезь один, да и тот никуда не годится. Неужели вы другого места найти не могли?.. И, говорят, вы у них даже старые ко-

нопляники отняли?

— А что будешь делать с размежеваньем? — отвечал мне Мардарий Аполлоныч. — У меня это размежевание вот где сидит. (Он указал на свой затылок.) И никакой пользы я от этого размежевания не предвижу. А что я конопляники у них отнял и сажалки, что ли, там у них не выкопал, — уж про это, батюшка, я сам знаю. Я человек простой — по-старому поступаю. По-моему: коли барин — так барин, а коли мужик — так мужик… Вот что.

На такой ясный и убедительный довод отвечать, разумеется, было нечего.

— Да притом, — продолжал он, — и мужики-то плохие, опальные. Особенно там две семьи; ещё батюшка покойный, дай бог ему царство небесное, их не жаловал, больно не жаловал. А у меня, скажу вам, такая примета: коли отец вор, то и сын вор; уж там как хотите… О, кровь, кровь — великое дело! Я, признаться вам откровенно, из тех-то двух семей и без очереди в солдаты отдавал, и так рассовывал — кой-куды; да не переводятся, что будешь делать? Плодущи, проклятые.

Между тем воздух затих совершенно. Лишь изредка ветер набегал струями и, в последний раз замирая около дома, донёс до нашего слуха

звук мерных и частых ударов, раздававшихся в направлении конюшни. Мардарий Аполлоныч только что донёс к губам налитое блюдечко и уже расширил было ноздри, без чего, как известно, ни один коренной русак не втягивает в себя чая, — но остановился, прислушался, кивнул головой, хлебнул и, ставя блюдечко на стол, произнёс с добрейшей улыбкой и как бы невольно вторя ударам: «Чюки-чюки-чюк! Чюки-чюк! Чюки-чюк!»

— Это что такое? — спросил я с изумлением.

— А там, по моему приказу, шалунишку наказывают… Васю-буфетчика изволите знать?

— Какого Васю?

— Да вот что намедни за обедом нам служил. Ещё с такими большими бакенбардами ходит.

Самое лютое негодование не устояло бы против ясного и кроткого взора Мардария Аполлоныча.

— Что вы, молодой человек, что вы? — заговорил он, качая головой. — Что я, злодей, что ли, что вы на меня так уставились? Любяй да наказует: вы сами знаете.

Через четверть часа я простился с Мардарием Аполлонычем. Проезжая через деревню, увидел я буфетчика Васю. Он шёл по улице и грыз орехи. Я велел кучеру остановить лошадей и подозвал его.

— Что, брат, тебя сегодня наказали? — спросил я его.

— А вы почём знаете? — отвечал Вася.

— Мне твой барин сказывал.

— Сам барин?

— За что ж он тебя велел наказать?

— А поделом, батюшка, поделом. У нас по пустякам не наказывают; такого заведенья у нас нету — ни, ни. У нас барин не такой; у нас барин… такого барина в целой губернии не сыщешь.

— Пошёл! — сказал я кучеру. «Вот она, старая-то Русь!» — думал я на возвратном пути.

Певцы

Небольшое сельцо Колотовка, принадлежавшее некогда помещице, за лихой и бойкий нрав прозванной в околотке Стрыганихой (настоящее имя её осталось неизвестным), а ныне состоящее за каким-то петербургским немцем, лежит на скате голого холма, сверху донизу рассечённого страшным оврагом, который, зияя как бездна, вьётся, разрытый и размытый, по самой середине улицы и пуще реки, — через реку можно по крайней мере навести мост, — разделяет обе стороны бедной деревушки. Несколько тощих ракит боязливо спускаются по песчаным его бокам; на самом дне, сухом и жёлтом, как медь, лежат огромные плиты глинистого камня. Невесёлый вид, нечего сказать, — а между тем всем окрестным жителям хорошо известна дорога в Колотовку: они ездят туда охотно и часто.

У самой головы оврага, в нескольких шагах от той точки, где он начинается узкой трещиной, стоит небольшая четвероугольная избушка, стоит одна, отдельно от других. Она крыта соломой, с трубой; одно окно, словно зоркий глаз, обращено к оврагу и в зимние вечера, освещённое изнутри,

далеко виднеется в тусклом тумане мороза и не одному проезжему мужичку мерцает путеводной звездою. Над дверью избушки прибита голубая дощечка: эта избушка — кабак, прозванный «Притынным». В этом кабаке вино продаётся, вероятно, не дешевле положенной цены, но посещается он гораздо прилежнее, чем все окрестные заведения такого же рода. Причиной этому целовальник Николай Иваныч.

Николай Иваныч — некогда стройный, кудрявый и румяный парень, теперь же необычайно толстый, уже поседевший мужчина с заплывшим лицом, хитро-добродушными глазками и жирным лбом, перетянутым морщинами, словно нитками, — уже более двадцати лет проживает в Колотовке. Николай Иваныч человек расторопный и сметливый, как большая часть целовальников. Не отличаясь ни особенной любезностью, ни говорливостью, он обладает даром привлекать и удерживать у себя гостей, которым как-то весело сидеть перед его стойкой, под спокойным и приветливым, хотя зорким взглядом флегматического хозяина. У него много здравого смысла; ему хорошо знаком и помещичий быт, и крестьянский, и мещанский; в трудных случаях он мог бы подать неглупый совет, но, как человек

осторожный и эгоист, предпочитает оставаться в стороне и разве только отдалёнными, словно без всякого намерения произнесёнными намёками наводит своих посетителей — и то любимых им посетителей — на путь истины. Он знает толк во всём, что важно или занимательно для русского человека: в лошадях и в скотине, в лесе, в кирпичах, в посуде, в красном товаре и в кожевенном, в песнях и в плясках. Когда у него нет посещения, он обыкновенно сидит, как мешок, на земле перед дверью своей избы, подвернув под себя свои тонкие ножки, и перекидывается ласковыми словцами со всеми прохожими. Много видал он на своём веку, пережил не один десяток мелких дворян, заезжавших к нему за «очищенным», знает всё, что делается на сто вёрст кругом, и никогда не пробалтывается, не показывает даже виду, что ему и то известно, чего не подозревает самый проницательный становой. Знай себе помалчивает, да посмеивается, да стаканчиками пошевеливает. Его соседи уважают: штатский генерал Щерепетенко, первый по чину владелец в уезде, всякий раз снисходительно ему кланяется, когда проезжает мимо его домика. Николай Иваныч человек со влиянием: он известного конокрада заставил возвратить лошадь, которую

тот свёл со двора у одного из его знакомых, образумил мужиков соседней деревни, не хотевших принять нового управляющего, и т. д. Впрочем, не до́лжно думать, чтобы он это делал из любви к справедливости, из усердия к ближним — нет! Он просто старается предупредить всё то, что может как-нибудь нарушить его спокойствие. Николай Иваныч женат, и дети у него есть. Жена его, бойкая, востроносая и быстроглазая мещанка, в последнее время тоже несколько отяжелела телом, подобно своему мужу. Он во всём на неё полагается, и деньги у ней под ключом. Пьяницы-крикуны её боятся; она их не любит: выгоды от них мало, а шуму много; молчаливые, угрюмые ей скорее по сердцу. Дети Николая Иваныча ещё малы; первые все перемёрли, но оставшиеся пошли в родителей: весело глядеть на умные личики этих здоровых ребят.

Был невыносимо жаркий июльский день, когда я, медленно передвигая ноги, вместе с моей собакой поднимался вдоль Колотовского оврага в направлении Притынного кабачка. Солнце разгоралось на небе, как бы свирепея; па́рило и пекло неотступно; воздух был весь пропитан душной пылью. Покрытые лоском грачи и вороны, разинув носы, жалобно глядели на проходящих,

словно прося их участья; одни воробьи не горевали и, распуша пёрышки, ещё яростнее прежнего чирикали и дрались по заборам, дружно взлетали с пыльной дороги, серыми тучками носились над зелёными конопляниками. Жажда меня мучила. Воды не было близко: в Колотовке, как и во многих других степных деревнях, мужики, за неименьем ключей и колодцев, пьют какую-то жидкую грязцу из пруда… Но кто же назовёт это отвратительное пойло водою? Я хотел спросить у Николая Иваныча стакан пива или квасу.

Признаться сказать, ни в какое время года Колотовка не представляет отрадного зрелища; но особенно грустное чувство возбуждает она, когда июльское сверкающее солнце своими неумолимыми лучами затопляет и бурые полуразмётанные крыши домов, и этот глубокий овраг, и выжженный, запылённый выгон, по которому безнадёжно скитаются худые, длинноногие курицы, и серый осиновый сруб с дырами вместо окон, остаток прежнего барского дома, кругом заросший крапивой, бурьяном и полынью, и покрытый гусиным пухом, чёрный, словно раскалённый пруд, с каймой из полувысохшей грязи и сбитой набок плотиной, возле которой на мелко истоптанной, пепеловидной земле

овцы, едва дыша и чихая от жара, печально теснятся друг к дружке и с унылым терпеньем наклоняют головы как можно ниже, как будто выжидая, когда ж пройдёт наконец этот невыносимый зной. Усталыми шагами приближался я к жилищу Николая Иваныча, возбуждая, как водится, в ребятишках изумление, доходившее до напряженно-бессмысленного созерцания, в собаках — негодование, выражавшееся лаем, до того хриплым и злобным, что, казалось, у них отрывалась вся внутренность, и они сами потом кашляли и задыхались, — как вдруг на пороге кабачка показался мужчина высокого роста, без шапки, во фризовой шинели, низко подпоясанной голубым кушачком. На вид он казался дворовым; густые седые волосы в беспорядке вздымались над сухим и сморщенным его лицом. Он звал кого-то, торопливо действуя руками, которые, очевидно, размахивались гораздо далее, чем он сам того желал. Заметно было, что он уже успел выпить.

— Иди, иди же! — залепетал он, с усилием поднимая густые брови, — иди, Моргач, иди! Экой ты, братец, ползёшь, право слово. Это нехорошо, братец. Тут ждут тебя, а ты вот ползёшь… Иди.

— Ну, иду, иду, — раздался дребезжащий голос,

и из-за избы направо показался человек низенький, толстый и хромой. На нём была довольно опрятная суконная чуйка, вдетая на один рукав; высокая остроконечная шапка, прямо надвинутая на брови, придавала его круглому, пухлому лицу выражение лукавое и насмешливое. Его маленькие жёлтые глазки так и бегали, с тонких губ не сходила сдержанная, напряжённая улыбка, а нос, острый и длинный, нахально выдвигался вперёд, как руль. — Иду, любезный, — продолжал он, ковыляя в направлении питейного заведенья, — зачем ты меня зовёшь?.. Кто меня ждёт?

— Зачем я тебя зову? — сказал с укоризной человек во фризовой шинели. — Экой ты, Моргач, чудно́й, братец: тебя зовут в кабак, а ты ещё спрашиваешь, зачем. А ждут тебя всё люди добрые: Турок-Яшка, да Дикий-Барин, да рядчик с Жиздры. Яшка-то с рядчиком об заклад побились: осьмуху пива поставили — кто кого одолеет, лучше споёт то есть… понимаешь?

— Яшка петь будет? — с живостью проговорил человек, прозванный Моргачом. — И ты не врёшь, Обалдуй?

— Я не вру, — с достоинством отвечал Обалдуй, — а ты брешешь. Стало быть, будет петь, коли об заклад побился, божья коровка ты этакая,

плут ты этакой, Моргач!

— Ну, пойдём, простота, — возразил Моргач.

— Ну, поцелуй же меня по крайней мере, душа ты моя, — залепетал Обалдуй, широко раскрыв объятия.

— Вишь, Езоп изнеженный, — презрительно ответил Моргач, отталкивая его локтем, и оба, нагнувшись, вошли в низенькую дверь.

Слышанный мною разговор сильно возбудил моё любопытство. Уже не раз доходили до меня слухи об Яшке-Турке как о лучшем певце в околотке, и вдруг мне представился случай услышать его в состязании с другим мастером. Я удвоил шаги и вошёл в заведение.

Вероятно, не многие из моих читателей имели случай заглядывать в деревенские кабаки; но наш брат, охотник, куда не заходит! Устройство их чрезвычайно просто. Они состоят обыкновенно из тёмных сеней и белой избы, разделённой надвое перегородкой, за которую никто из посетителей не имеет права заходить. В этой перегородке, над широким дубовым столом, проделано большое продольное отверстие. На этом столе, или стойке, продаётся вино. Запечатанные штофы разной величины рядком стоят на полках, прямо против отверстия. В передней части избы,

предоставленной посетителям, находятся лавки, две-три пустые бочки, угловой стол. Деревенские кабаки большей частью довольно темны, и почти никогда не увидите вы на их бревенчатых стенах каких-нибудь ярко раскрашенных лубочных картин, без которых редкая изба обходится.

Когда я вошёл в Притынный кабачок, в нём уже собралось довольно многочисленное общество.

За стойкой, как водится, почти во всю ширину отверстия, стоял Николай Иваныч, в пёстрой ситцевой рубахе, и, с ленивой усмешкой на пухлых щеках, наливал своей полной и белой рукой два стакана вина вошедшим приятелям, Моргачу и Обалдую; а за ним, в углу, возле окна, виднелась его востроглазая жена. Посередине комнаты стоял Яшка-Турок, худой и стройный человек лет двадцати трёх, одетый в долгополый нанковый кафтан голубого цвета. Он смотрел удалым фабричным малым и, казалось, не мог похвастаться отличным здоровьем. Его впалые щёки, большие беспокойные серые глаза, прямой нос с тонкими, подвижными ноздрями, белый покатый лоб с закинутыми назад светло-русыми кудрями, крупные, но красивые, выразительные губы — всё его лицо изобличало человека впечатлительного и страстного. Он был в большом волненье: мигал

глазами, неровно дышал, руки его дрожали, как в лихорадке, — да у него и точно была лихорадка, та тревожная, внезапная лихорадка, которая так знакома всем людям, говорящим или поющим перед собранием. Подле него стоял мужчина лет сорока, широкоплечий, широкоскулый, с низким лбом, узкими татарскими глазами, коротким и плоским носом, четвероугольным подбородком и чёрными блестящими волосами, жёсткими, как щетина. Выражение его смуглого со свинцовым отливом лица, особенно его бледных губ, можно было бы назвать почти свирепым, если б оно не было так спокойно-задумчиво. Он почти не шевелился и только медленно поглядывал кругом, как бык из-под ярма. Одет он был в какой-то поношенный сюртук с медными гладкими пуговицами; старый чёрный шёлковый платок окутывал его огромную шею. Звали его Диким-Барином. Прямо против него, на лавке под образами, сидел соперник Яшки — рядчик из Жиздры. Это был невысокого роста плотный мужчина лет тридцати, рябой и курчавый, с тупым вздёрнутым носом, живыми карими глазами и жидкой бородкой. Он бойко поглядывал кругом, подсунув под себя руки, беспечно болтал и постукивал ногами, обутыми в щегольские сапоги с оторочкой. На

нём был новый тонкий армяк из серого сукна с плисовым воротником, от которого резко отделялся край алой рубахи, плотно застёгнутой вокруг горла. В противоположном углу, направо от двери, сидел за столом какой-то мужичок в узкой изношенной свите, с огромной дырой на плече. Солнечный свет струился жидким желтоватым потоком сквозь запылённые стёкла двух небольших окошек и, казалось, не мог победить обычной темноты комнаты: все предметы были освещены скупо, словно пятнами. Зато в ней было почти прохладно, и чувство духоты и зноя, словно бремя, свалилось у меня с плеч, как только я переступил порог.

Мой приход — я это мог заметить — сначала несколько смутил гостей Николая Иваныча; но, увидев, что он поклонился мне, как знакомому человеку, они успокоились и уже более не обращали на меня внимания. Я спросил себе пива и сел в уголок, возле мужичка в изорванной свите.

— Ну, что ж! — возопил вдруг Обалдуй, выпив духом стакан вина и сопровождая своё восклицание теми странными размахиваниями рук, без которых он, по-видимому, не произносил ни одного слова. — Чего ещё ждать? Начинать так начинать. А? Яша?..

— Начинать, начинать, — одобрительно подхватил Николай Иваныч.

— Начнём, пожалуй, — хладнокровно и с самоуверенной улыбкой промолвил рядчик, — я готов.

— И я готов, — с волнением произнёс Яков.

— Ну, начинайте, ребятки, начинайте, — пропищал Моргач.

Но несмотря на единодушно изъявленное желание, никто не начинал; рядчик даже не приподнялся с лавки, — все словно ждали чего-то.

— Начинай! — угрюмо и резко проговорил Дикий-Барин.

Яков вздрогнул. Рядчик встал, осунул кушак и откашлялся.

— А кому начать? — спросил он слегка изменившимся голосом у Дикого-Барина, который всё продолжал стоять неподвижно посередине комнаты, широко расставив толстые ноги и почти по локоть засунув могучие руки в карманы шаровар.

— Тебе, тебе, рядчик, — залепетал Обалдуй, — тебе, братец.

Дикий-Барин посмотрел на него исподлобья. Обалдуй слабо пискнул, замялся, глянул куда-то в потолок, повёл плечами и умолк.

— Жеребий кинуть, — с расстановкой произнёс Дикий-Барин, — да осьмуху на стойку.

Николай Иваныч нагнулся, достал, кряхтя, с полу осьмуху и поставил её на стол.

Дикий-Барин глянул на Якова и промолвил: «Ну!»

Яков зарылся у себя в карманах, достал грош и наметил его зубом. Рядчик вынул из-под полы кафтана новый кожаный кошелёк, не торопясь распутал шнурок и, насыпав множество мелочи на руку, выбрал новенький грош. Обалдуй подставил свой затасканный картуз с обломанным и отставшим козырьком; Яков кинул в него свой грош, рядчик — свой.

— Тебе выбирать, — проговорил Дикий-Барин, обратившись к Моргачу.

Моргач самодовольно усмехнулся, взял картуз в обе руки и начал его встряхивать.

Мгновенно воцарилась глубокая тишина: гроши слабо звякали, ударяясь друг о друга. Я внимательно поглядел кругом: все лица выражали напряжённое ожидание; сам Дикий-Барин прищурился; мой сосед, мужичок в изорванной свитке, и тот даже с любопытством вытянул шею. Моргач запустил руку в картуз и достал рядчиков грош; все вздохнули. Яков покраснел, а рядчик

провёл рукой по волосам.

— Ведь я же говорил, что тебе, — воскликнул Обалдуй, — я ведь говорил.

— Ну, ну, не «циркай»! — презрительно заметил Дикий-Барин. — Начинай, — продолжал он, качнув головой на рядчика.

— Какую же мне песню петь? — спросил рядчик, приходя в волненье.

— Какую хочешь, — отвечал Моргач. — Какую вздумается, ту и пой.

— Конечно, какую хочешь, — прибавил Николай Иваныч, медленно складывая руки на груди. — В этом тебе указу нету. Пой какую хочешь; да только пой хорошо; а мы уж потом решим по совести.

— Разумеется, по совести, — подхватил Обалдуй и полизал край пустого стакана.

— Дайте, братцы, откашляться маленько, — заговорил рядчик, перебирая пальцами вдоль воротника кафтана.

— Ну, ну, не прохлаждайся — начинай! — решил Дикий-Барин и потупился.

Рядчик подумал немного, встряхнул головой и выступил вперёд. Яков впился в него глазами…

Но прежде, чем я приступлю к описанию самого состязания, считаю не лишним сказать

несколько слов о каждом из действующих лиц моего рассказа. Жизнь некоторых из них была уже мне известна, когда я встретился с ними в Притынном кабачке; о других я собрал сведения впоследствии.

Начнём с Обалдуя. Настоящее имя этого человека было Евграф Иванов; но никто во всём околотке не звал его иначе как Обалдуем, и он сам величал себя тем же прозвищем: так хорошо оно к нему пристало. И действительно, оно как нельзя лучше шло к его незначительным, вечно встревоженным чертам. Это был загулявший, холостой дворовый человек, от которого собственные господа давным-давно отступились и который, не имея никакой должности, не получая ни гроша жалованья, находил, однако, средство каждый день покутить на чужой счёт. У него было множество знакомых, которые поили его вином и чаем, сами не зная зачем, потому что он не только не был в обществе забавен, но даже, напротив, надоедал всем своей бессмысленной болтовнёй, несносной навязчивостью, лихорадочными телодвижениями и беспрестанным неестественным хохотом. Он не умел ни петь, ни плясать; отроду не сказал не только умного, даже путного слова: всё «лотошил» да врал что

ни попало — прямой Обалдуй! И между тем ни одной попойки на сорок вёрст кругом не обходилось без того, чтобы его долговязая фигура не вертелась тут же между гостями, — так уж к нему привыкли и переносили его присутствие как неизбежное зло. Правда, обходились с ним презрительно, но укрощать его нелепые порывы умел один Дикий-Барин.

Моргач нисколько не походил на Обалдуя. К нему тоже шло названье Моргача, хотя он глазами не моргал более других людей; известное дело: русский народ на прозвища мастер. Несмотря на моё старанье выведать пообстоятельнее прошедшее этого человека, в жизни его остались для меня — и, вероятно, для многих других — тёмные пятна, места, как выражаются книжники, покрытые глубоким мраком неизвестности. Я узнал только, что он некогда был кучером у старой бездетной барыни, бежал со вверенной ему тройкой лошадей, пропадал целый год и, должно быть, убедившись на деле в невыгодах и бедствиях бродячей жизни, вернулся сам, но уже хромой, бросился в ноги своей госпоже и, в течение нескольких лет примерным поведеньем загладив своё преступленье, понемногу вошёл к ней в милость, заслужил наконец её полную

доверенность, попал в приказчики, а по смерти барыни, неизвестно каким образом, оказался отпущенным на волю, приписался в мещане, начал снимать у соседей бакши, разбогател и живёт теперь припеваючи. Это человек опытный, себе на уме, не злой и не добрый, а более расчётливый; это тёртый калач, который знает людей и умеет ими пользоваться. Он осторожен и в то же время предприимчив, как лисица; болтлив, как старая женщина, и никогда не проговаривается, а всякого другого заставит высказаться; впрочем, не прикидывается простачком, как это делают иные хитрецы того же десятка, да ему и трудно было бы притворяться: я никогда не видывал более проницательных и умных глаз, как его крошечные, лукавые «гляделки». Они никогда не смотрят просто — всё высматривают да подсматривают. Моргач иногда по целым неделям обдумывает какое-нибудь, по-видимому, простое предприятие, а то вдруг решится на отчаянно смелое дело; кажется, тут ему и голову сломить… смотришь — всё удалось, всё как по маслу пошло. Он счастлив и верит в своё счастье, верит приметам. Он вообще очень суеверен. Его не любят, потому что ему самому ни до кого дела нет, но уважают. Всё его семейство состоит из одного сынишки, в котором

он души не чает и который, воспитанный таким отцом, вероятно, пойдёт далеко. «А Моргачонок в отца вышел», — уже и теперь говорят о нём вполголоса старики, сидя на завалинках и толкуя меж собой в летние вечера; и все понимают, что это значит, и уже не прибавляют ни слова.

Об Якове-Турке и рядчике нечего долго распространяться. Яков, прозванный Турком, потому что действительно происходил от пленной турчанки, был по душе — художник во всех смыслах этого слова, а по званию — черпальщик на бумажной фабрике у купца; что же касается до рядчика, судьба которого, признаюсь, мне осталась неизвестной, то он показался мне изворотливым и бойким городским мещанином. Но о Диком-Барине стоит поговорить несколько поподробнее.

Первое впечатление, которое производил на вас вид этого человека, было чувство какой-то грубой, тяжёлой, но неотразимой силы. Сложен он был неуклюже, «сбитнем», как говорят у нас, но от него так и несло несокрушимым здоровьем, и — странное дело — его медвежеватая фигура не была лишена какой-то своеобразной грации, происходившей, может быть, от совершенно спокойной уверенности в собственном могуществе. Трудно было решить с первого разу, к какому

сословию принадлежал этот Геркулес; он не походил ни на дворового, ни на мещанина, ни на обеднявшего подьячего в отставке, ни на мелкопоместного разорившегося дворянина — псаря и драчуна: он был уж точно сам по себе. Никто не знал, откуда он свалился к нам в уезд; поговаривали, что происходил он от однодворцев и состоял будто где-то прежде на службе; но ничего положительного об этом не знали; да и от кого было и узнавать, — не от него же самого: не было человека более молчаливого и угрюмого. Также никто не мог положительно сказать, чем он живёт; он никаким ремеслом не занимался, ни к кому не ездил, не знался почти ни с кем, а деньги у него водились; правда, небольшие, но водились. Вёл он себя не то что скромно, — в нём вообще не было ничего скромного, — но тихо; он жил, словно никого вокруг себя не замечал и решительно ни в ком не нуждался. Дикий-Барин (так его прозвали; настоящее же его имя было Перевлесов) пользовался огромным влиянием во всём округе; ему повиновались тотчас и с охотой, хотя он не только не имел никакого права приказывать кому бы то ни было, но даже сам не изъявлял малейшего притязания на послушание людей, с которыми случайно сталкивался. Он говорил

— ему покорялись; сила всегда своё возьмёт. Он почти не пил вина, не знался с женщинами и страстно любил пение. В этом человеке было много загадочного; казалось, какие-то громадные силы угрюмо покоились в нём, как бы зная, что, раз поднявшись, что сорвавшись раз на волю, они должны разрушить и себя и всё, до чего ни коснутся; и я жестоко ошибаюсь, если в жизни этого человека не случилось уже подобного взрыва, если он, наученный опытом и едва спасшись от гибели, неумолимо не держал теперь самого себя в ежовых рукавицах. Особенно поражала меня в нём смесь какой-то врождённой, природной свирепости и такого же врождённого благородства, — смесь, которой я не встречал ни в ком другом.

Итак, рядчик выступил вперёд, закрыл до половины глаза и запел высочайшим фальцетом. Голос у него был довольно приятный и сладкий, хотя несколько сиплый; он играл и вилял этим голосом, как юлою, беспрестанно заливался и переливался сверху вниз и беспрестанно возвращался к верхним нотам, которые выдерживал и вытягивал с особенным стараньем, умолкал и потом вдруг подхватывал прежний напев с какой-то залихватской, заносистой удалью. Его

переходы были иногда довольно смелы, иногда довольно забавны: знатоку они бы много доставили удовольствия; немец пришёл бы от них в негодование. Это был русский tenore di grazia, ténor leger. Пел он весёлую, плясовую песню, слова которой, сколько я мог уловить сквозь бесконечные украшения, прибавленные согласные и восклицания, были следующие:

Распашу я, молода-молоденька,
Землицы маленько;
Я посею, молода-молоденька,
Цветика аленька.

Он пел; все слушали его с большим вниманьем. Он, видимо, чувствовал, что имеет дело с людьми сведущими, и потому, как говорится, просто лез из кожи. Действительно, в наших краях знают толк в пении, и недаром село Сергиевское, на большой орловской дороге, славится во всей России своим особенно приятным и согласным напевом. Долго рядчик пел, не возбуждая слишком сильного сочувствия в своих слушателях; ему недоставало поддержки, хора; наконец, при одном особенно удачном переходе, заставившем улыбнуться самого Дикого-Барина, Обалдуй не выдержал и вскрикнул от удовольствия. Все

встрепенулись. Обалдуй с Моргачом начали вполголоса подхватывать, подтягивать, покрикивать: «Лихо!.. Забирай, шельмец!.. Забирай, вытягивай, аспид! Вытягивай ещё! Накаливай ещё, собака ты этакая, пёс!.. Погуби Ирод твою душу!» и пр. Николай Иваныч из-за стойки одобрительно закачал головой направо и налево. Обалдуй наконец затопал, засеменил ногами и задёргал плечиком, а у Якова глаза так и разгорелись, как уголья, и он весь дрожал как лист и беспорядочно улыбался. Один Дикий-Барин не изменился в лице и по-прежнему не двигался с места; но взгляд его, устремлённый на рядчика, несколько смягчился, хотя выражение губ оставалось презрительным. Ободрённый знаками всеобщего удовольствия, рядчик совсем завихрился, и уж такие начал отделывать завитушки, так защёлкал и забарабанил языком, так неистово заиграл горлом, что, когда наконец, утомлённый, бледный и облитый горячим потом, он пустил, перекинувшись назад всем телом, последний замирающий возглас, — общий, слитный крик ответил ему неистовым взрывом. Обалдуй бросился ему на шею и начал душить его своими длинными, костлявыми руками; на жирном лице Николая Иваныча выступила краска, и он словно помолодел; Яков как

сумасшедший закричал: «Молодец, молодец!» Даже мой сосед, мужик в изорванной свите, не вытерпел и, ударив кулаком по столу, воскликнул: «А-га! хорошо, черт побери, хорошо!» — и с решительностью плюнул в сторону.

— Ну, брат, потешил! — кричал Обалдуй, не выпуская изнеможённого рядчика из своих объятий, — потешил, нечего сказать! Выиграл, брат, выиграл! Поздравляю — осьмуха твоя! Яшке до тебя далеко… Уж я тебе говорю: далеко… А ты мне верь! (И он снова прижал рядчика, к своей груди.)

— Да пусти же его; пусти, неотвязная… — с досадой заговорил Моргач, — дай ему присесть на лавку-то; вишь, он устал… Экой ты фофан, братец, право, фофан! Что пристал, словно банный лист?

— Ну что ж, пусть садится, а я за его здоровье выпью, — сказал Обалдуй и подошёл к стойке. — На твой счёт, брат, — прибавил он, обращаясь к рядчику.

Тот кивнул головой, сел на лавку, достал из шапки полотенце и начал утирать лицо; а Обалдуй с торопливой жадностью выпил стакан, и, по привычке горьких пьяниц, крякая, принял грустно-озабоченный вид.

— Хорошо поёшь, брат, хорошо, — ласково

заметил Николай Иваныч. — А теперь за тобой очередь, Яша: смотри, не сробей. Посмотрим, кто кого, посмотрим… А хорошо поёт рядчик, ей-богу хорошо.

— Очинна хорошо, — заметила Николай Иванычева жена и с улыбкой поглядела на Якова.

— Хорошо-га! — повторил вполголоса мой сосед.

— А, заворотень-полеха! — завопил вдруг Обалдуй и, подойдя к мужичку с дырой на плече, уставился на него пальцем, запрыгал и залился дребезжащим хохотом. — Полеха! полеха! Га, баде паняй, заворотень! Зачем пожаловал, заворотень? — кричал он сквозь смех.

Бедный мужик смутился и уже собрался было встать да уйти поскорей, как вдруг раздался медный голос Дикого-Барина:

— Да что ж это за несносное животное такое? — произнёс он, скрыпнув зубами.

— Я ничего, — забормотал Обалдуй, — я ничего… я так…

— Ну, хорошо, молчать же! — возразил Дикий-Барин. — Яков, начинай!

Яков взялся рукой за горло.

— Что, брат, того… что-то… Гм… Не знаю, право, что-то того…

— Ну, полно, не робей. Стыдись!.. чего вертишься?.. Пой, как бог тебе велит.

И Дикий-Барин потупился, выжидая.

Яков помолчал, взглянул кругом и закрылся рукой. Все так и впились в него глазами, особенно рядчик, у которого на лице, сквозь обычную самоуверенность и торжество успеха, проступило невольное, лёгкое беспокойство. Он прислонился к стене и опять положил под себя обе руки, но уже не болтал ногами. Когда же наконец Яков открыл своё лицо — оно было бледно, как у мёртвого; глаза едва мерцали сквозь опущенные ресницы. Он глубоко вздохнул и запел… Первый звук его голоса был слаб и неровен и, казалось, не выходил из его груди, но принесся откуда-то издалека, словно залетел случайно в комнату. Странно подействовал этот трепещущий, звенящий звук на всех нас; мы взглянули друг на друга, а жена Николая Иваныча так и выпрямилась. За этим первым звуком последовал другой, более твёрдый и протяжный, но все ещё видимо дрожащий, как струна, когда, внезапно прозвенев под сильным пальцем, она колеблется последним, быстро замирающим колебаньем, за вторым — третий, и, понемногу разгорячаясь и расширяясь, полилась заунывная песня. «Не одна во поле дороженька

пролегала», — пел он, и всем нам сладко становилось и жутко. Я, признаюсь, редко слыхивал подобный голос: он был слегка разбит и звенел, как надтреснутый; он даже сначала отзывался чем-то болезненным; но в нём была и неподдельная глубокая страсть, и молодость, и сила, и сладость, и какая-то увлекательно-беспечная, грустная скорбь. Русская, правдивая, горячая душа звучала и дышала в нём и так и хватала вас за сердце, хватала прямо за его русские струны. Песнь росла, разливалась. Яковом, видимо, овладевало упоение: он уже не робел, он отдавался весь своему счастью; голос его не трепетал более — он дрожал, но той едва заметной внутренней дрожью страсти, которая стрелой вонзается в душу слушателя, и беспрестанно крепчал, твердел и расширялся. Помнится, я видел однажды, вечером, во время отлива, на плоском песчаном берегу моря, грозно и тяжко шумевшего вдали, большую белую чайку: она сидела неподвижно, подставив шелковистую грудь алому сиянью зари, и только изредка медленно расширяла свои длинные крылья навстречу знакомому морю, навстречу низкому, багровому солнцу: я вспомнил о ней, слушая Якова. Он пел, совершенно позабыв и своего соперника, и всех нас, но, видимо, под-

нимаемый, как бодрый пловец волнами, нашим молчаливым, страстным участьем. Он пел, и от каждого звука его голоса веяло чем-то родным и необозримо широким, словно знакомая степь раскрывалась перед вами, уходя в бесконечную даль. У меня, я чувствовал, закипали на сердце и поднимались к глазам слёзы; глухие, сдержанные рыданья внезапно поразили меня… Я оглянулся — жена целовальника плакала, припав грудью к окну. Яков бросил на неё быстрый взгляд и залился ещё звонче, ещё слаще прежнего; Николай Иваныч потупился, Моргач отвернулся; Обалдуй, весь разнеженный, стоял, глупо разинув рот; серый мужичок тихонько всхлипывал в уголку, с горьким шёпотом покачивая головой; и по железному лицу Дикого-Барина, из-под совершенно надвинувшихся бровей, медленно прокатилась тяжёлая слеза; рядчик поднёс сжатый кулак ко лбу и не шевелился… Не знаю, чем бы разрешилось всеобщее томленье, если б Яков вдруг не кончил на высоком, необыкновенно тонком звуке — словно голос у него оборвался. Никто не крикнул, даже не шевельнулся; все как будто ждали, не будет ли он ещё петь; но он раскрыл глаза, словно удивлённый нашим молчаньем, вопрошающим взором обвёл всех кругом и увидал,

что победа была его…

— Яша, — проговорил Дикий-Барин, положил ему руку на плечо и — смолк.

Мы все стояли как оцепенелые. Рядчик тихо встал и подошёл к Якову. «Ты… твоя… ты выиграл», — произнёс он наконец с трудом и бросился вон из комнаты.

Его быстрое, решительное движение как будто нарушило очарованье: все вдруг заговорили шумно, радостно. Обалдуй подпрыгнул кверху, залепетал, замахал руками, как мельница крыльями; Моргач, ковыляя, подошёл к Якову и стал с ним целоваться; Николай Иваныч приподнялся и торжественно объявил, что прибавляет от себя ещё осьмуху пива; Дикий-Барин посмеивался каким-то добрым смехом, которого я никак не ожидал встретить на его лице; серый мужичок то и дело твердил в своём уголку, утирая обоими рукавами глаза, щёки, нос и бороду: «А хорошо, ей-богу хорошо, ну, вот будь я собачий сын, хорошо!», а жена Николая Иваныча, вся раскрасневшаяся, быстро встала и удалилась. Яков наслаждался своей победой, как дитя; всё его лицо преобразилось; особенно его глаза так и засияли счастьем. Его потащили к стойке; он подозвал к ней расплакавшегося серого мужичка,

послал целовальникова сынишку за рядчиком, которого, однако, тот не сыскал, и начался пир. «Ты ещё нам споёшь, ты до вечера нам петь будешь», — твердил Обалдуй, высоко поднимая руки.

Я ещё раз взглянул на Якова и вышел. Я не хотел остаться — я боялся испортить своё впечатление. Но зной был нестерпим по-прежнему. Он как будто висел над самой землёй густым тяжёлым слоем; на темно-синем небе, казалось, крутились какие-то мелкие, светлые огоньки сквозь тончайшую, почти чёрную пыль. Всё молчало; было что-то безнадёжное, придавленное в этом глубоком молчании обессиленной природы. Я добрался до сеновала и лёг на только что скошенную, но уже почти высохшую траву. Долго я не мог задремать; долго звучал у меня в ушах неотразимый голос Якова… Наконец жара и усталость взяли, однако ж, своё, и я заснул мёртвым сном. Когда я проснулся, — всё уже потемнело; вокруг разбросанная трава сильно пахла и чуть-чуть отсырела; сквозь тонкие жерди полураскрытой крыши слабо мигали бледные звёздочки. Я вышел. Заря уже давно погасла, и едва белел на небосклоне её последний след; но в недавно раскалённом воздухе сквозь ночную свежесть чувствовалась

ещё теплота, и грудь всё ещё жаждала холодного дуновенья. Ветра не было, не было и туч; небо стояло кругом всё чистое и прозрачно-тёмное, тихо мерцая бесчисленными, но чуть видными звёздами. По деревне мелькали огоньки; из недалёкого, ярко освещённого кабака нёсся нестройный, смутный гам, среди которого, мне казалось, я узнавал голос Якова. Ярый смех по временам поднимался оттуда взрывом. Я подошёл к окошку и приложился лицом к стеклу. Я увидел невесёлую, хотя пёструю и живую картину: всё было пьяно — всё, начиная с Якова. С обнажённой грудью сидел он на лавке и, напевая осиплым голосом какую-то плясовую, уличную песню, лениво перебирал и щипал струны гитары. Мокрые волосы клочьями висели над его страшно побледневшим лицом. Посередине кабака Обалдуй, совершенно «развинченный» и без кафтана, выплясывал вперепрыжку перед мужиком в сероватом армяке; мужичок, в свою очередь, с трудом топотал и шаркал ослабевшими ногами и, бессмысленно улыбаясь сквозь взъерошенную бороду, изредка помахивал одной рукой, как бы желая сказать: «Куда ни шло!» Ничего не могло быть смешней его лица; как он ни вздёргивал кверху свои брови, отяжелевшие веки не хотели

подняться, а так и лежали на едва заметных, посоловелых, но сладчайших глазках. Он находился в том милом состоянии окончательно подгулявшего человека, когда всякий прохожий, заглянув ему в лицо, непременно скажет: «Хорош, брат, хорош!» Моргач, весь красный как рак и широко раздув ноздри, язвительно посмеивался из угла; один Николай Иваныч, как и следует истинному целовальнику, сохранял своё неизменное хладнокровие. В комнату набралось много новых лиц; но Дикого-Барина я в ней не видал.

Я отвернулся и быстрыми шагами стал спускаться с холма, на котором лежит Колотовка. У подошвы этого холма расстилается широкая равнина; затопленная мглистыми волнами вечернего тумана, она казалась ещё необъятней и как будто сливалась с потемневшим небом. Я сходил большими шагами по дороге вдоль оврага, как вдруг где-то далеко в равнине раздался звонкий голос мальчика. «Антропка! Антропка-а-а!..» — кричал он с упорным и слезливым отчаянием, долго, долго вытягивая последний слог.

Он умолкал на несколько мгновений и снова принимался кричать. Голос его звонко разносился в неподвижном, чутко дремлющем воздухе.

Тридцать раз, по крайней мере, прокричал он имя Антропки, как вдруг с противоположного конца поляны, словно с другого света, принёсся едва слышный ответ:

— Чего-о-о-о-о?

Голос мальчика тотчас с радостным озлоблением закричал:

— Иди сюда, черт леши-и-и-ий!

— Заче-е-е-ем? — ответил тот спустя долгое время.

— А затем, что тебя тятя высечь хочи-и-и-т, — поспешно прокричал первый голос.

Второй голос более не откликнулся, и мальчик снова принялся взывать к Антропке. Возгласы его, более и более редкие и слабые, долетали ещё до моего слуха, когда уже стало совсем темно и я огибал край леса, окружающего мою деревеньку и лежащего в четырёх верстах от Колотовки…

«Антропка-а-а!» — всё ещё чудилось в воздухе, наполненном тенями ночи.

Гамлет Щигровского уезда

На одной из моих поездок получил я приглашение отобедать у богатого помещика и охотника, Александра Михайлыча Г***. Его село находилось верстах в пяти от небольшой деревеньки, где я на ту пору поселился. Я надел фрак, без которого не советую никому выезжать даже на охоту, и отправился к Александру Михайлычу. Обед был назначен к шести часам; я приехал в пять и застал уже великое множество дворян в мундирах, в партикулярных платьях и других, менее определительных одеждах. Хозяин встретил меня ласково, но тотчас же побежал в официантскую. Он ожидал важного сановника и чувствовал некоторое волнение, вовсе несообразное с его независимым положением в свете и богатством. Александр Михайлыч никогда женатым не был и не любил женщин; общество у него собиралось холостое. Он жил на большую ногу, увеличил и отделал дедовские хоромы великолепно, выписывал ежегодно из Москвы тысяч на пятнадцать вина и вообще пользовался величайшим уважением. Александр Михайлыч давным-давно вышел в отставку и никаких почестей не доби-

вался… Что же заставляло его напрашиваться на посещение сановного гостя и волноваться с самого утра в день торжественного обеда? Это остаётся покрыто мраком неизвестности, как говаривал один мой знакомый стряпчий, когда его спрашивали: берёт ли он взятки с доброхотных дателей?

Расставшись с хозяином, я начал расхаживать по комнатам. Почти все гости были мне совершенно незнакомы; человек двадцать уже сидело за карточными столами. В числе этих любителей преферанса было: два военных с благородными, но слегка изношенными лицами, несколько штатских особ, в тесных, высоких галстуках и с висячими, крашеными усами, какие только бывают у людей решительных, но благонамеренных (эти благонамеренные люди с важностью подбирали карты и, не поворачивая головы, вскидывали сбоку глазами на подходивших); пять или шесть уездных чиновников с круглыми брюшками, пухлыми и потными ручками и скромно-неподвижными ножками (эти господа говорили мягким голосом, кротко улыбались на все стороны, держали свои игры у самой манишки и, козыряя, не стучали по столу, а, напротив, волнообразно роняли карты на зелёное сукно и,

складывая взятки, производили лёгкий, весьма учтивый и приличный скрып). Прочие дворяне сидели на диванах, кучками жались к дверям и подле окон; один, уже немолодой, но женоподобный по наружности помещик стоял в уголку, вздрагивал, краснел и с замешательством вертел у себя на желудке печаткою своих часов, хотя никто не обращал на него внимания; иные господа, в круглых фраках и клетчатых панталонах работы московского портного, вечного цехового мастера иностранца Фирса Клюхина, рассуждали необыкновенно развязно и бойко, свободно поворачивая своими жирными и голыми затылками; молодой человек лет двадцати, подслеповатый и белокурый, с ног до головы одетый в чёрную одежду, видимо робел, но язвительно улыбался…

Однако я начинал несколько скучать, как вдруг ко мне присоединился некто Войницын, недоучившийся молодой человек, проживавший в доме Александра Михайлыча в качестве… мудрено сказать, в каком именно качестве. Он стрелял отлично и умел дрессировать собак. Я его знавал ещё в Москве. Он принадлежал к числу молодых людей, которые, бывало, на всяком экзамене «играли столбняка», то есть не отвечали ни слова на вопросы профессора. Этих господ, для красоты

слога, называли также бакенбардистами. (Дела давно минувших дней, как изволите видеть.) Вот как это делалось: вызывали, например, Войницына. Войницын, который до того времени неподвижно и прямо сидел на своей лавке, с ног до головы обливаясь горячей испариной и медленно, но бессмысленно поводя кругом глазами, — вставал, торопливо застёгивал свой вицмундир доверху и пробирался боком к экзаменаторскому столу. «Извольте взять билет», — с приятностью говорил ему профессор. Войницын протягивал руку и трепетно прикасался пальцами кучки билетов. «Да не извольте выбирать», — замечал дребезжащим голосом какой-нибудь посторонний, но раздражительный старичок, профессор из другого факультета, внезапно возненавидевший несчастного бакенбардиста. Войницын покорялся своей участи, брал билет, показывал нумер и шёл садиться к окну, пока предшественник его отвечал на свой вопрос. У окна Войницын не спускал глаз с билета, разве только для того, чтобы по-прежнему медленно посмотреть кругом, а впрочем, не шевелился ни одним членом. Вот, однако, предшественник его кончил; говорят ему: «Хорошо, ступайте», или даже: «Хорошо-с, очень хорошо-с», смотря по его

способностям. Вот вызывают Войницына; Войницын встаёт и твёрдым шагом приближается к столу. «Прочтите билет», — говорят ему. Войницын подносит обеими руками билет к самому своему носу, медленно читает и медленно опускает руки. «Ну-с, извольте отвечать», — лениво произносит тот же профессор, закидывая туловище назад и скрещивая на груди руки. Воцаряется гробовое молчание. «Что же вы?» Войницын молчит. Постороннего старичка начинает дёргать. «Да скажите же что-нибудь!» Молчит мой Войницын, словно замер. Стриженый его затылок круто и неподвижно торчит навстречу любопытным взорам всех товарищей. У постороннего старичка глаза готовы выскочить: он окончательно ненавидит Войницына. «Однако ж это странно, — замечает другой экзаменатор, — что же вы, как немой, стоите? ну, не знаете, что ли? Так так и скажите». — «Позвольте другой билет взять», — глухо произносит несчастный. Профессора переглядываются. «Ну, извольте», — махнув рукой, отвечает главный экзаменатор. Войницын снова берёт билет, снова идёт к окну, снова возвращается к столу и снова молчит как убитый. Посторонний старичок в состоянии съесть его живого. Наконец его прогоняют и ставят нуль. Вы

думаете: теперь он, по крайней мере, уйдёт? Как бы не так! Он возвращается на своё место, так же неподвижно сидит до конца экзамена, а уходя восклицает: «Ну баня! экая задача!» И ходит он целый тот день по Москве, изредка хватаясь за голову и горько проклиная свою бесталанную участь. За книгу он, разумеется, не берётся, и на другое утро та же повторяется история.

Вот этот-то Войницын присоседился ко мне! Мы с ним говорили о Москве, об охоте.

— Не хотите ли, — шепнул он мне вдруг, — я познакомлю вас с первым здешним остряком?

— Сделайте одолжение.

Войницын подвёл меня к человеку маленького роста, с высоким хохлом и усами, в коричневом фраке и пёстром галстуке. Его жёлчные, подвижные черты действительно дышали умом и злостью. Беглая, едкая улыбка беспрестанно кривила его губы; чёрные, прищуренные глазки дерзко выглядывали из-под неровных ресниц. Подле него стоял помещик, широкий, мягкий, сладкий — настоящий Сахар-Медович — и кривой. Он заранее смеялся остротам маленького человека и словно таял от удовольствия. Войницын представил меня остряку, которого звали Петром Петровичем Лупихиным. Мы познакоми-

лись, обменялись первыми приветствиями.

— А позвольте представить вам моего лучшего приятеля, — заговорил вдруг Лупихин резким голосом, схватив сладкого помещика за руку. — Да не упирайтесь же, Кирила Селифаныч, — прибавил он, — вас не укусят. Вот-с, — продолжал он, между тем как смущённый Кирила Селифаныч так неловко раскланивался, как будто у него отваливался живот, — вот-с, рекомендую-с, превосходный дворянин. Пользовался отличным здоровьем до пятидесятилетнего возраста, да вдруг вздумал лечить себе глаза, вследствие чего и окривел. С тех пор лечит своих крестьян с таковым же успехом… Ну, а они, разумеется, с таковою же преданностию…

— Ведь этакой, — пробормотал Кирила Селифаныч и засмеялся.

— Договаривайте, друг мой, эх, договаривайте, — подхватил Лупихин. — Ведь вас, чего доброго, в судьи могут избрать, и изберут, посмотрите. Ну, за вас, конечно, будут думать заседатели, положим; да ведь надобно ж на всякий случай хоть чужую-то мысль уметь выговорить. Неравно заедет губернатор — спросит: отчего судья заикается? Ну, положим, скажет: паралич приключился; так бросьте ему, скажет, кровь. А оно

в вашем положении, согласитесь сами, неприлично.

Сладкий помещик так и покатился.

— Ведь вишь смеётся, — продолжал Лупихин, злобно глядя на колыхающийся живот Кирилы Селифаныча. — И отчего ему не смеяться? — прибавил он, обращаясь ко мне, — сыт, здоров, детей нет, мужики не заложены — он же их лечит, — жена с придурью. (Кирила Селифаныч немножко отвернулся в сторону, будто не расслыхал, и всё продолжал хохотать.) Смеюсь же я, а у меня жена с землемером убежала. (Он оскалился.) А вы этого не знали? Как же! Так-таки взяла да и убежала и письмо мне оставила: любезный, дескать, Пётр Петрович, извини; увлечённая страстью, удаляюсь с другом моего сердца… А землемер только тем и взял, что не стриг ногтей да панталоны носил в обтяжку. Вы удивляетесь? Вот, дескать, откровенный человек… И, боже мой! наш брат степняк так правду-матку и режет. Однако отойдёмте-ка в сторону… Что нам подле будущего судьи стоять-то…

Он взял меня под руку, и мы отошли к окну.

— Я слыву здесь за остряка, — сказал он мне в течение разговора, — вы этому не верьте. Я просто озлобленный человек и ругаюсь вслух: оттого

я так и развязен. И зачем мне церемониться, в самом деле? Я ничьё мнение в грош не ставлю и ничего не добиваюсь; я зол — что ж такое? Злому человеку, по крайней мере, ума не нужно. А как оно освежительно, вы не поверите… Ну вот, например, ну вот посмотрите на нашего хозяина! Ну из чего он бегает, помилуйте, то и дело на часы смотрит, улыбается, потеет, важный вид принимает, нас с голоду морит? Эка невидаль — сановное лицо! Вот, вот, опять побежал — заковылял даже, посмотрите.

И Лупихин визгливо засмеялся.

— Одна беда, барынь нету, — продолжал он с глубоким вздохом, — холостой обед, — а то вот где нашему брату пожива. Посмотрите, посмотрите, — воскликнул он вдруг, — идёт князь Козельский — вон этот высокий мужчина с бородой, в жёлтых перчатках. Сейчас видно, что за границей побывал… И всегда так поздно приезжает. Глуп, скажу я вам, один, как пара купеческих лошадей, а изволили бы вы поглядеть, как снисходительно он с нашим братом заговаривает, как великодушно изволит улыбаться на любезности наших голодных матушек и дочек!.. И сам иногда острит, даром что проездом здесь живёт; зато как и острит! Ни дать ни взять тупым ножом бечёвку

пилит. Он меня терпеть не может… Пойду поклонюсь ему.

И Лупихин побежал навстречу князю.

— А вот мой личный враг идёт, — промолвил он, вдруг вернувшись ко мне, — видите этого толстого человека с бурым лицом и щетиной на голове, — вон, что шапку сгрёб в руку да по стенке пробирается и на все стороны озирается, как волк? Я ему продал за четыреста рублей лошадь, которая стоила тысячу, и это бессловесное существо имеет теперь полное право презирать меня; а между тем сам до того лишён способности соображенья, особенно утром, до чаю, или тотчас после обеда, что ему скажешь: здравствуйте, а он отвечает: чего-с? А вот генерал идёт, — продолжал Лупихин, — штатский генерал в отставке, разорённый генерал. У него дочь из свекловичного сахару и завод в золотухе… Виноват, не так сказал… ну, да вы понимаете. А! и архитектор сюда попал! Немец, а с усами и дела своего не знает, — чудеса!.. А впрочем, на что ему и знать своё дело-то; лишь бы взятки брал да колонн, столбов то есть, побольше ставил для наших столбовых дворян!

Лупихин опять захохотал… Но вдруг тревожное волнение распространилось по всему

дому. Сановник приехал. Хозяин так и хлынул в переднюю. За ним устремились несколько приверженных домочадцев и усердных гостей… Шумный разговор превратился в мягкий, приятный говор, подобный весеннему жужжанью пчёл в родимых ульях. Одна неугомонная оса — Лупихин и великолепный трутень — Козельский не понизили голоса… И вот вошла наконец матка — вошёл сановник. Сердца понеслись к нему навстречу, сидящие туловища приподнялись; даже помещик, дёшево купивший у Лупихина лошадь, даже тот помещик уткнул себе подбородок в грудь. Сановник поддержал своё достоинство как нельзя лучше: покачивая головой назад, будто кланяясь, он выговорил несколько одобрительных слов, из которых каждое начиналось буквою а, произнесённою протяжно и в нос, — с негодованием, доходившим до голода, посмотрел на бороду князя Козельского и подал разорённому штатскому генералу с заводом и дочерью указательный палец левой руки. Через несколько минут, в течение которых сановник успел заметить два раза, что он очень рад, что не опоздал к обеду, всё общество отправилось в столовую, тузами вперёд.

Нужно ли рассказывать читателю, как посади-

ли сановника на первом месте между штатским генералом и губернским предводителем, человеком со свободным и достойным выражением лица, совершенно соответствовавшим его накрахмаленной манишке, необъятному жилету и круглой табакерке с французским табаком, — как хозяин хлопотал, бегал, суетился, потчевал гостей, мимоходом улыбался спине сановника и, стоя в углу, как школьник, наскоро перехватывал тарелочку супу или кусочек говядины, — как дворецкий подал рыбу в полтора аршина длины и с букетом во рту, — как слуги, в ливреях, суровые на вид, угрюмо приставали к каждому дворянину то с малагой, то с дрей-мадерой и как почти все дворяне, особенно пожилые, словно нехотя покоряясь чувству долга, выпивали рюмку за рюмкой, — как, наконец, захлопали бутылки шампанского и начали провозглашаться заздравные тосты: всё это, вероятно, слишком известно читателю. Но особенно замечательным показался мне анекдот, рассказанный самим сановником среди всеобщего радостного молчанья. Кто-то, кажется, разорённый генерал, человек, ознакомленный с новейшей словесностью, упомянул о влиянии женщин вообще и на молодых людей в особенности. «Да, да, — подхватил сановник, —

это правда; но молодых людей должно в строгом повиновении держать, а то они, пожалуй, от всякой юбки с ума сходят». (Детски весёлая улыбка промчалась по лицам всех гостей; у одного помещика даже благодарность заиграла во взоре.) «Ибо молодые люди глупы». (Сановник, вероятно, ради важности, иногда изменял общепринятые ударения слов.) «Вот хоть бы у меня, сын Иван, — продолжал он, — двадцатый год всего дураку пошёл, а он вдруг мне и говорит: «Позвольте, батюшка, жениться». Я ему говорю: «Дурак, послужи сперва…» Ну, отчаянье, слёзы… но у меня… того…» (Слово «того» сановник произнёс более животом, чем губами; помолчал и величаво взглянул на своего соседа, генерала, причём гораздо более поднял брови, чем бы следовало ожидать. Штатский генерал приятно наклонил голову несколько набок и чрезвычайно быстро заморгал глазом, обращённым к сановнику.) «И что ж, — заговорил сановник опять, — теперь он сам мне пишет, что спасибо, дескать, батюшка, что дурака научил… Так вот как надобно поступать». Все гости, разумеется, вполне согласились с рассказчиком и как будто оживились от полученного удовольствия и наставления… После обеда всё общество поднялось и двинулось в гостиную с

большим, но всё же приличным и словно на этот случай разрешённым шумом… Сели за карты.

Кое-как дождался я вечера и, поручив своему кучеру заложить мою коляску на другой день в пять часов утра, отправился на покой. Но мне предстояло ещё в течение того же самого дня познакомиться с одним замечательным человеком.

Вследствие множества наехавших гостей никто не спал в одиночку. В небольшой, зеленоватой и сыроватой комнате, куда привёл меня дворецкий Александра Михайлыча, уже находился другой гость, совершенно раздетый. Увидев меня, он проворно нырнул под одеяло, закрылся им до самого носа, повозился немного на рыхлом пуховике и притих, зорко выглядывая из-под круглой каймы своего бумажного колпака. Я подошёл к другой кровати (их всего было две в комнате), разделся и лёг в сырые простыни. Мой сосед заворочался на своей постели… Я пожелал ему доброй ночи.

Прошло полчаса. Несмотря на все мои старания, я никак не мог заснуть: бесконечной вереницей тянулись друг за другом ненужные и неясные мысли, упорно и однообразно, словно вёдра водоподъёмной машины.

— А вы, кажется, не спите? — проговорил мой

сосед.

— Как видите, — отвечал я. — Да и вам не спится?

— Мне никогда не спится.

— Как же так?

— Да так. Я засыпаю сам не знаю отчего; лежу, лежу, да и засну.

— Зачем же вы ложитесь в постель, прежде чем вам спать захочется?

— А что ж прикажете делать?

Я не отвечал на вопрос моего соседа.

— Удивляюсь я, — продолжал он после небольшого молчания, — отчего здесь блох нету. Кажется, где бы им и быть?

— Вы словно о них сожалеете, — заметил я.

— Нет, не сожалею; но я во всём люблю последовательность.

«Вот как, — подумал я, — какие слова употребляет».

Сосед опять помолчал.

— Хотите со мной об заклад побиться? — заговорил он вдруг довольно громко.

— О чём?

Меня мой сосед начинал забавлять.

— Гм… о чём? А вот о чём: я уверен, что вы меня принимаете за дурака.

— Помилуйте, — пробормотал я с изумлением.

— За степняка, за невежу… Сознайтесь…

— Я вас не имею удовольствия знать, — возразил я. — Почему вы могли заключить…

— Почему! Да по одному звуку вашего голоса: вы так небрежно мне отвечаете… А я совсем не то, что вы думаете…

— Позвольте…

— Нет, вы позвольте. Во-первых, я говорю по-французски не хуже вас, а по-немецки даже лучше; во-вторых, я три года провёл за границей: в одном Берлине прожил восемь месяцев. Я Гегеля изучил, милостивый государь, знаю Гёте наизусть; сверх того, я долго был влюблён в дочь германского профессора и женился дома на чахоточной барышне, лысой, но весьма замечательной личности. Стало быть, я вашего поля ягода; я не степняк, как вы полагаете… Я тоже заеден рефлексией, и непосредственного нет во мне ничего.

Я поднял голову и с удвоенным вниманием посмотрел на чудака. При тусклом свете ночника я едва мог разглядеть его черты.

— Вот вы теперь смотрите на меня, — продолжал он, поправив свой колпак, — и, вероятно, самих себя спрашиваете: как же это я не заметил

его сегодня? Я вам скажу, отчего вы меня не заметили, — оттого, что я не возвышаю голоса; оттого, что я прячусь за других, стою за дверьми, ни с кем не разговариваю; оттого, что дворецкий с подносом, проходя мимо меня, заранее возвышает свой локоть в уровень моей груди… А отчего всё это происходит? От двух причин: во-первых, я беден, а во-вторых, я смирился… Скажите правду, ведь вы меня не заметили?

— Я действительно не имел удовольствия…

— Ну да, ну да, — перебил он меня, — я это знал.

Он приподнялся и скрестил руки; длинная тень его колпака перегнулась со стены на потолок.

— А признайтесь-ка, — прибавил он, вдруг взглянув на меня сбоку, — я должен вам казаться большим чудаком, как говорится, оригиналом, или, может быть, пожалуй, ещё чем-нибудь похуже: может быть, вы думаете, что я прикидываюсь чудаком?

— Я вам опять-таки должен повторить, что я вас не знаю…

Он на мгновение потупился.

— Почему я с вами, вовсе мне незнакомым человеком, так неожиданно разговорился — господь, господь один ведает! (Он вздохнул.) Не вследствие

же родства наших душ! И вы, и я, мы оба порядочные люди, то есть эгоисты: ни вам до меня, ни мне до вас нет ни малейшего дела; не так ли? Но нам обоим не спится… Отчего ж не поболтать? Я же в ударе, а это со мной редко случается. Я, видите ли, робок, и робок не в ту силу, что я провинциал, нечиновный, бедняк, а в ту силу, что я страшно самолюбивый человек. Но иногда, под влиянием благодатных обстоятельств, случайностей, которых я, впрочем, ни определить, ни предвидеть не в состоянии, робость моя исчезает совершенно, как вот теперь, например. Теперь поставьте меня лицом к лицу хоть с самим Далай-Ламой, — я и у него табачку попрошу понюхать. Но, может быть, вам спать хочется?

— Напротив, — поспешно возразил я, — мне очень приятно с вами разговаривать.

— То есть я вас потешаю, хотите вы сказать… Тем лучше… Итак-с, доложу вам, меня здесь величают оригиналом, то есть величают те, которым случайным образом, между прочей дребеденью, придёт и моё имя на язык. «Моей судьбою очень никто не озабочен». Они думают уязвить меня… О боже мой! если б они знали… да я именно и гибну оттого, что во мне решительно нет ничего оригинального, ничего, кроме таких выходок,

как, например, мой теперешний разговор с вами; но ведь эти выходки гроша медного не стоят. Это самый дешёвый и самый низменный род оригинальности.

Он повернулся ко мне лицом и взмахнул руками.

— Милостивый государь! — воскликнул он. — Я того мнения, что вообще одним оригиналам житьё на земле; они одни имеют право жить. Mon verre n'est pas grand, mais je bois dans mon verre[31], сказал кто-то. Видите ли, — прибавил он вполголоса, — как я чисто выговариваю французский язык. Что мне в том, что у тебя голова велика и уместительна и что понимаешь ты всё, много знаешь, за веком следишь, — да своего-то, особенного, собственного, у тебя ничего нету! Одним складочным местом общих мест на свете больше, — да какое кому от этого удовольствие? Нет, ты будь хоть глуп, да по-своему! Запах свой имей, свой собственный запах, вот что! И не думайте, чтобы требования мои насчёт этого запаха были велики… Сохрани бог! Таких оригиналов пропасть: куда ни погляди — оригинал; всякий живой человек оригинал, да я-то в их число не

---

[31] Примечания: 31

Mon verre n'est pas grand, mais je bois dans mon verre — Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана (*франц.*).

попал!

— А между тем, — продолжал он после небольшого молчания, — в молодости моей какие возбуждал я ожидания! Какое высокое мнение я сам питал о своей особе перед отъездом за границу, да и в первое время после возвращения! Ну, за границей я держал ухо востро, всё особнячком пробирался, как оно и следует нашему брату, который всё смекает себе, смекает, а под конец, смотришь, — ни аза не смекнул!

— Оригинал, оригинал! — подхватил он, с укоризной качая головой… — Зовут меня оригиналом… А на деле-то оказывается, что нет на свете человека менее оригинального, чем ваш покорнейший слуга. Я, должно быть, и родился-то в подражание другому… Ей-богу! Живу я тоже словно в подражание разным мною изученным сочинителям, в поте лица живу; и учился-то я, и влюбился, и женился, наконец, словно не по собственной охоте, словно исполняя какой-то не то долг, не то урок, — кто его разберёт!

Он сорвал колпак с головы и бросил его на постель.

— Хотите, я вам расскажу жизнь мою, — спросил он меня отрывистым голосом, — или, лучше, несколько черт из моей жизни?

— Сделайте одолжение.

— Или нет, расскажу-ка я вам лучше, как я женился. Ведь женитьба дело важное, пробный камень всего человека; в ней, как в зеркале, отражается… Да это сравнение слишком избито… Позвольте, я понюхаю табачку.

Он достал из-под подушки табакерку, раскрыл её и заговорил опять, размахивая раскрытой табакеркой.

— Вы, милостивый государь, войдите в моё положение… Посудите сами, какую, ну, какую, скажите на милость, какую пользу мог я извлечь из энциклопедии Гегеля? Что общего, скажите, между этой энциклопедией и русской жизнью? И как прикажете применить её к нашему быту, да не её одну, энциклопедию, а вообще немецкую философию… скажу более — науку?

Он подпрыгнул на постели и забормотал вполголоса, злобно стиснув зубы:

— А, вот как, вот как!.. Так зачем же ты таскался за границу? Зачем не сидел дома да не изучал окружающей тебя жизни на месте? Ты бы и потребности её узнал, и будущность, и насчёт своего, так сказать, призвания тоже в ясность бы пришёл… Да помилуйте, — продолжал он, опять переменив голос, словно оправдываясь и

робея, — где же нашему брату изучать то, чего ещё ни один умница в книгу не вписал! Я бы и рад был брать у ней уроки, у русской жизни-то, — да молчит она, моя голубушка. Пойми меня, дескать, так; а мне это не под силу: мне вы подайте вывод, заключенье мне представьте… Заключенье? — Вот тебе, говорят, и заключенье: послушай-ка наших московских — не соловьи, что ли? — Да в том-то и беда, что они курскими соловьями свищут, а не по-людскому говорят… Вот я подумал, подумал — ведь наука-то, кажись, везде одна, и истина одна, — взял да и пустился, с богом, в чужую сторону, к нехристям… Что прикажете! — молодость, гордость обуяла. Не хотелось, знаете, до времени заплыть жиром, хоть оно, говорят, и здорово. Да, впрочем, кому природа не дала мяса, не видать тому у себя на теле и жиру!

— Однако, — прибавил он, подумав немного, — я, кажется, обещал вам рассказать, каким образом я женился. Слушайте же. Во-первых, доложу вам, что жены моей уже более на свете не имеется, во-вторых… а во-вторых, я вижу, что мне придётся рассказать вам мою молодость, а то вы ничего не поймёте… Ведь вам не хочется спать?

— Нет, не хочется.

— И прекрасно. Вы послушайте-ка… вот в сосед-

ней комнате господин Кантагрюхин храпит как неблагородно! Родился я от небогатых родителей — говорю родителей, потому что, по преданью, кроме матери, был у меня и отец. Я его не помню; сказывают, недалёкий был человек, с большим носом и веснушками, рыжий и в одну ноздрю табак нюхал; в спальне у матушки висел его портрет, в красном мундире с чёрным воротником по уши, чрезвычайно безобразный. Мимо его меня, бывало, сечь водили, и матушка моя мне в таких случаях всегда на него показывала, приговаривая: он бы ещё тебя не так. Можете себе представить, как это меня поощряло. Ни брата у меня не было, ни сестры; то есть, по правде сказать, был какой-то братишка завалящий, с английской болезнью на затылке, да что-то скоро больно умер… И зачем, кажись, английской болезни забраться Курской губернии в Щигровский уезд? Но дело не в том. Воспитанием моим занималась матушка со всем стремительным рвением степной помещицы: занималась она им с самого великолепного дня моего рождения до тех пор, пока мне стукнуло шестнадцать лет… Вы следите за ходом моего рассказа?

— Как же, продолжайте.

— Ну, хорошо. Вот, как стукнуло мне шестна-

дцать лет, матушка моя, нимало не медля, взяла да прогнала моего французского гувернёра, немца Филиповича из нежинских греков; свезла меня в Москву, записала в университет, да и отдала всемогущему свою душу, оставив меня на руки родному дяде моему, стряпчему Колтуну-Бабуре, птице, не одному Щигровскому уезду известной. Родной дядя мой, стряпчий Колтун-Бабура, ограбил меня, как водится, дочиста… Но дело опять-таки не в том. В университет вступил я — должно отдать справедливость моей родительнице — довольно хорошо подготовленный; но недостаток оригинальности уже и тогда во мне замечался. Детство моё нисколько не отличалось от детства других юношей: я так же глупо и вяло рос, словно под периной, так же рано начал твердить стихи наизусть и киснуть, под предлогом мечтательной наклонности… к чему бишь? — да, к прекрасному… и прочая. В университете я не пошёл другой дорогой: я тотчас попал в кружок. Тогда времена были другие… Но вы, может быть, не знаете, что такое кружок? Помнится, Шиллер сказал где-то:

Gefährlich ist's den Leu zu wecken,
Und schreklich ist des Tigers Zahn,

Doch das schrecklichste der Schrecken —
Das ist Mensch in seinem Wahn![32]

Он, уверяю вас, он не то хотел сказать; он хотел сказать: Das ist ein «кружок»... in der Stadt Moskau![33]

— Да что ж вы находите ужасного в кружке? — спросил я.

Мой сосед схватил свой колпак и надвинул его себе на нос.

— Что я нахожу ужасного? — вскрикнул он. — А вот что: кружок — да это гибель всякого самобытного развития; кружок — это безобразная замена общества, женщины, жизни; кружок... о, да постойте; я вам скажу, что такое кружок! Кружок — это ленивое и вялое житьё вместе и рядом, которому придают значение и вид разумного дела; кружок заменяет разговор рассуждениями, приучает к бесплодной болтовне, отвлекает вас от уединённой, благодатной работы, прививает вам литературную чесотку; лишает вас, наконец,

---

[32] Примечания: 32

Gefahrlich ist's den Leu zu wecken, // Und schreklich ist des Tigers Zahn, // Doch das schrecklichste der Schrecken — // Das ist Mensch in seinem Wahn! // Опасно будить льва, // И страшен зуб тигра, // Но самое ужасное из всех ужасов — // Это человек в его безумии! (*Нем.*)

[33] Примечания: 33

Das ist ein... in der Stadt Moskau! — Это... в Москве! (*Нем.*)

свежести и девственной крепости души. Кружок — да это пошлость и скука под именем братства и дружбы, сцепление недоразумений и притязаний под предлогом откровенности и участия; в кружке, благодаря праву каждого приятеля во всякое время и во всякий час запускать свои неумытые пальцы прямо во внутренность товарища, ни у кого нет чистого, нетронутого места на душе; в кружке поклоняются пустому краснобаю, самолюбивому умнику, довременному старику, носят на руках стихотворца бездарного, но с «затаёнными» мыслями; в кружке молодые, семнадцатилетние малые хитро и мудрено толкуют о женщинах и любви, а перед женщинами молчат или говорят с ними, словно с книгой, — да и о чём говорят! В кружке процветает хитростное красноречие; в кружке наблюдают друг за другом не хуже полицейских чиновников… О кружок! ты не кружок: ты заколдованный круг, в котором погиб не один порядочный человек!

— Ну, это вы преувеличиваете, позвольте вам заметить, — прервал я его.

Мой сосед молча посмотрел на меня.

— Может быть, господь меня знает, может быть. Да ведь нашему брату только одно удовольствие и осталось — преувеличивать. Вот-с таким-то

образом прожил я четыре года в Москве. Не в состоянии я описать вам, милостивый государь, как скоро, как страшно скоро прошло это время; даже грустно и досадно вспомнить. Встанешь, бывало, поутру, и словно с горы на салазках покатишься… Смотришь, уж и примчался к концу; вот уж и вечер; вот уж заспанный слуга и натягивает на тебя сюртук — оденешься и поплетёшься к приятелю и давай трубочку курить, пить жидкий чай стаканами да толковать о немецкой философии, любви, вечном солнце духа и прочих отдалённых предметах. Но и тут встречал я оригинальных, самобытных людей: иной, как себя ни ломал, как ни гнул себя в дугу, а всё природа брала своё; один я, несчастный, лепил самого себя, словно мягкий воск, и жалкая моя природа ни малейшего не оказывала сопротивления! Между тем мне стукнуло двадцать один год. Я вступил во владение своим наследством, или, правильнее, тою частью своего наследства, которую мой опекун заблагорассудил мне оставить, дал доверенность на управление всеми вотчинами вольноотпущенному дворовому человеку Василью Кудряшеву и уехал за границу, в Берлин. За границей пробыл я, как я уже имел удовольствие вам донести, три года. И что ж? И там, и

за границей, я остался тем же неоригинальным существом. Во-первых, нечего и говорить, что собственно Европы, европейского быта я не узнал ни на волос; я слушал немецких профессоров и читал немецкие книги на самом месте рождения их… вот в чём состояла вся разница. Жизнь вёл я уединённую, словно монах какой; снюхивался с отставными поручиками, удручёнными, подобно мне, жаждой знанья, весьма, впрочем, тугими на понимание и не одарёнными даром слова; якшался с тупоумными семействами из Пензы и других хлебородных губерний; таскался по кофейным, читал журналы, по вечерам ходил в театр. С туземцами знался я мало, разговаривал с ними как-то напряжённо и никого из них у себя не видал, исключая двух или трёх навязчивых молодчиков еврейского происхождения, которые то и дело забегали ко мне да занимали у меня деньги, — благо der Russe верит. Странная игра случая занесла меня наконец в дом одного из моих профессоров; а именно вот как: я пришёл к нему записаться на курс, а он вдруг возьми да и пригласи меня к себе на вечер. У этого профессора было две дочери, лет двадцати семи, коренастые такие — бог с ними — носы такие великолепные, кудри в завитках и глаза бледно-голубые, а руки

красные с белыми ногтями. Одну звали Линхен, другую Минхен. Начал я ходить к профессору. Надобно вам сказать, что этот профессор был не то что глуп, а словно ушибен: с кафедры говорил довольно связно, а дома картавил и очки всё на лбу держал; притом учёнейший был человек… И что же? Вдруг мне показалось, что я влюбился в Линхен, — да целых шесть месяцев этак всё казалось. Разговаривал я с ней, правда, мало, — больше так на неё смотрел; но читал ей вслух разные трогательные сочинения, пожимал ей украдкой руки, а по вечерам мечтал с ней рядом, упорно глядя на луну, а не просто вверх. Притом она так отлично варила кофе!.. Кажется, чего бы ещё? Одно меня смущало: в самые, как говорится, мгновения неизъяснимого блаженства у меня отчего-то всё под ложечкой сосало и тоскливая, холодная дрожь пробегала по желудку. Я наконец не выдержал такого счастья и убежал. Целых два года я провёл ещё после того за границей: был в Италии, постоял в Риме перед Преображением, и перед Венерой во Флоренции постоял; внезапно повергался в преувеличенный восторг, словно злость на меня находила; по вечерам пописывал стишки, начинал дневник; словом, и тут вёл себя, как все. А между тем, посмотрите, как легко быть

оригинальным. Я, например, ничего не смыслю в живописи и ваянии… Сказать бы мне это просто вслух… нет, как можно! Бери чичерона[34], беги смотреть фрески…

Он опять потупился и опять скинул колпак.

— Вот вернулся я наконец на родину, — продолжал он усталым голосом, — приехал в Москву. В Москве удивительная произошла со мною перемена. За границей я больше молчал, а тут вдруг заговорил неожиданно бойко и в то же самое время возмечтал о себе бог ведает что. Нашлись снисходительные люди, которым я показался чуть не гением; дамы с участием выслушивали мои разглагольствования; но я не сумел удержаться на высоте своей славы. В одно прекрасное утро родилась на мой счёт сплетня (кто её произвёл на свет божий, не знаю: должно быть, какая-нибудь старая дева мужеского пола, — таких старых дев в Москве пропасть), родилась и принялась пускать отпрыски и усики, словно земляника. Я запутался, хотел выскочить, разорвать прилипчивые нити, — не тут-то было… Я уехал. Вот и тут я оказался вздорным человеком; мне бы преспокойно переждать эту напасть, вот

[34] Примечания: 34

Чичеро́не (*устар.*) — проводник, дающий пояснения туристам при осмотре достопримечательностей.

как выжидают конца крапивной лихорадки, и те же снисходительные люди снова раскрыли бы мне свои объятия, те же дамы снова улыбнулись бы на мои речи… Да вот в чём беда: не оригинальный человек. Добросовестность вдруг, изволите видеть, во мне проснулась: мне что-то стыдно стало болтать, болтать без умолку, болтать — вчера на Арбате, сегодня на Трубе, завтра на Сивцевом Вражке, и всё о том же… Да коли этого требуют? Посмотрите-ка на настоящих ратоборцев на этом поприще: им это нипочём; напротив, только этого им и нужно; иной двадцатый год работает языком, и всё в одном направлении… Что значит уверенность в самом себе и самолюбие! И у меня оно было, самолюбие, да и теперь ещё не совсем угомонилось… Да тем-то и плохо, что я, опять-таки скажу, не оригинальный человек, на серединке остановился: природе следовало бы гораздо больше самолюбия мне отпустить либо вовсе его не дать. Но на первых порах мне действительно круто пришлось; притом и поездка за границу окончательно истощила мои средства, а на купчихе с молодым, но уже дряблым телом, вроде желе, я жениться не хотел, — и удалился к себе в деревню. Кажется, — прибавил мой сосед, опять взглянув на меня сбоку, — я могу пройти

молчанием первые впечатления деревенской жизни, намёки на красоту природы, тихую прелесть одиночества и прочее…

— Можете, можете, — возразил я.

— Тем более, — продолжал рассказчик, — что это всё вздор, по крайней мере что до меня касается. Я в деревне скучал, как щенок взаперти, хотя, признаюсь, проезжая на возвратном пути в первый раз весною знакомую берёзовую рощу, у меня голова закружилась и забилось сердце от смутного сладкого ожидания. Но эти смутные ожидания, вы сами знаете, никогда не сбываются, а напротив, сбываются другие вещи, которых вовсе не ожидаешь, как то: падежи, недоимки, продажи с публичного торгу и прочая, и прочая. Перебиваясь кое-как со дня на день при помощи бурмистра Якова, заменившего прежнего управляющего и оказавшегося впоследствии времени таким же, если не большим, грабителем да сверх того отравлявшего моё существование запахом своих дегтярных сапогов, вспомнил я однажды об одном знакомом соседнем семействе, состоявшем из отставной полковницы и двух дочерей, велел заложить дрожки и поехал к соседям. Этот день должен навсегда остаться мне памятным: шесть месяцев спустя женился я на второй дочери пол-

ковницы!..

Рассказчик опустил голову и поднял руки к небу.

— И между тем, — продолжал он с жаром, — я бы не желал внушить вам дурное мнение о покойнице. Сохрани бог! Это было существо благороднейшее, добрейшее, существо любящее и способное на всякие жертвы, хотя я должен, между нами, сознаться, что, если бы я не имел несчастия её лишиться, я бы, вероятно, не был в состоянии разговаривать сегодня с вами, ибо ещё до сих пор цела балка в грунтовом моем сарае, на которой я неоднократно собирался повеситься!

— Иным грушам, — начал он опять после небольшого молчания, — нужно некоторое время полежать под землёй в подвале, для того чтобы войти, как говорится, в настоящий свой вкус; моя покойница, видимо, тоже принадлежала к подобным произведениям природы. Только теперь отдаю я ей полную справедливость. Только теперь, например, воспоминания об иных вечерах, проведённых мною с ней до свадьбы, не только не возбуждают во мне ни малейшей горечи, но, напротив, трогают меня чуть не до слёз. Люди они были небогатые; дом их, весьма старинный, деревянный, но удобный, стоял на горе, между

заглохшим садом и заросшим двором. Под горой текла река и едва виднелась сквозь густую листву. Большая терраса вела из дому в сад, перед террасой красовалась продолговатая клумба, покрытая розами; на каждом конце клумбы росли две акации, ещё в молодости переплетённые в виде винта покойным хозяином. Немного подальше, в самой глуши заброшенного и одичалого малинника, стояла беседка, прехитро раскрашенная внутри, но до того ветхая и дряхлая снаружи, что, глядя на неё, становилось жутко. С террасы стеклянная дверь вела в гостиную; а в гостиной вот что представлялось любопытному взору наблюдателя: по углам изразцовые печи, кисленькое фортепьяно направо, заваленное рукописными нотами, диван, обитый полинялым голубым штофом с беловатыми разводами, круглый стол, две горки с фарфоровыми и бисерными игрушками екатерининского времени, на стене известный портрет белокурой девицы с голубком на груди и закатившимися глазами, на столе ваза со свежими розами… Видите, как я подробно описываю. В этой-то гостиной, на этой-то террасе и разыгралась вся трагикомедия моей любви. Сама соседка была скверная баба, с постоянной хрипотой злобы в горле, притеснительное и свар-

ливое существо; из дочерей одна — Вера, ничем не отличалась от обыкновенных уездных барышень, другая — Софья, — я в Софью влюбился. У обеих сестёр была ещё другая комнатка, общая их спальня, с двумя невинными деревянными кроватками, желтоватыми альбомцами, резедой, с портретами приятелей и приятельниц, рисованных карандашом довольно плохо (между ними отличался один господин с необыкновенно энергическим выражением лица и ещё более энергическою подписью, в юности своей возбудивший несоразмерные ожидания, а кончивший, как все мы — ничем), с бюстами Гёте и Шиллера, немецкими книгами, высохшими венками и другими предметами, оставленными на память. Но в эту комнату я ходил редко и неохотно: мне там отчего-то дыхание сдавливало. Притом — странное дело! Софья мне более всего нравилась, когда я сидел к ней спиной или ещё, пожалуй, когда я думал или более мечтал о ней, особенно вечером, на террасе. Я глядел тогда на зарю, на деревья, на зелёные мелкие листья, уже потемневшие, но ещё резко отделявшиеся от розового неба; в гостиной, за фортепьянами, сидела Софья и беспрестанно наигрывала какую-нибудь любимую, страстно задумчивую фразу из Бетховена;

злая старуха мирно похрапывала, сидя на диване; в столовой, залитой потоком алого света, Вера хлопотала за чаем; самовар затейливо шипел, словно чему-то радовался; с весёлым треском ломались крендельки, ложечки звонко стучали по чашкам; канарейка, немилосердно трещавшая целый день, внезапно утихала и только изредка чирикала, как будто о чём-то спрашивала; из прозрачного, лёгкого облачка мимоходом падали редкие капли… А я сидел, сидел, слушал, слушал, глядел, сердце у меня расширялось, и мне опять казалось, что я любил. Вот, под влиянием такого-то вечера я однажды спросил у старухи руку её дочери и месяца через два женился. Мне казалось, что я её любил… Да и теперь — пора бы знать, а я, ей-богу, и теперь не знаю, любил ли я Софью. Это было существо доброе, умное, молчаливое, с тёплым сердцем; но, бог знает отчего, от долгого ли житья в деревне, от других ли каких причин, у ней на дне души (если только есть дно у души) таилась рана, или, лучше сказать, сочилась ранка, которую ничем невозможно было излечить, да и назвать её ни она не умела, ни я не мог. О существовании этой раны я, разумеется, догадался только после брака. Уж я ли не бился над ней — ничто не помогало! У меня в детстве был

чиж, которого кошка раз подержала в лапах; его спасли, вылечили, но не исправился мой бедный чиж; дулся, чах, перестал петь… Кончилось тем, что однажды ночью в открытую клетку забралась к нему крыса и откусила ему нос, вследствие чего он наконец решился умереть. Не знаю, какая кошка подержала жену мою в своих лапах, только и она так же дулась и чахла, как мой несчастный чиж. Иногда ей самой, видимо, хотелось встрепенуться, взыграть на свежем воздухе, на солнце да на воле; попробует — и свернётся в клубочек. И ведь она меня любила: сколько раз уверяла меня, что ничего более ей не остаётся желать, — тьфу, чёрт возьми! — а у самой глаза так и меркнут. Думал я, нет ли чего в прошедшем? Собрал справки: ничего не оказалось. Ну вот, теперь посудите сами: оригинальный человек пожал бы плечом, может быть, вздохнул бы раза два да и принялся бы жить по-своему; а я, неоригинальное существо, начал заглядываться на балки. В жену мою до того въелись все привычки старой девицы — Бетховен, ночные прогулки, резеда, переписка с друзьями, альбомы и прочее, — что ко всякому другому образу жизни, особенно к жизни хозяйки дома, она никак привыкнуть не могла; а между тем смешно же замужней женщине томиться

безымённой тоской и петь по вечерам: «Не буди ты её на заре».

Вот-с, таким-то образом-с мы блаженствовали три года; на четвёртый Софья умерла от первых родов, и — странное дело — мне словно заранее сдавалось, что она не будет в состоянии подарить меня дочерью или сыном, землю — новым обитателем. Помню я, как её хоронили. Дело было весной. Приходская наша церковь невелика, стара, иконостас почернел, стены голые, кирпичный пол местами выбит; на каждом клиросе большой старинный образ. Внесли гроб, поместили на самой середине, пред царскими дверями, одели полинялым покровом, поставили кругом три подсвечника. Служба началась. Дряхлый дьячок, с маленькой косичкой сзади, низко подпоясанный зелёным кушаком, печально шамшил перед налоем; священник, тоже старый, с добреньким и слепеньким лицом, в лиловой рясе с жёлтыми разводами, служил за себя и за дьякона. Во всю ширину раскрытых окон шевелились и лепетали молодые, свежие листья плакучих берёз; со двора несло травяным запахом; красное пламя восковых свечей бледнело в весёлом свете весеннего дня; воробьи так и чирикали на всю церковь, и изредка раздавалось под куполом звонкое

восклицание влетевшей ласточки. В золотой пыли солнечного луча проворно опускались и поднимались русые головы немногочисленных мужиков, усердно молившихся за покойницу; тонкой голубоватой струйкой бежал дым из отверстий кадила. Я глядел на мёртвое лицо моей жены… Боже мой! и смерть, сама смерть не освободила её, не излечила её раны: то же болезненное, робкое, немое выражение, — ей словно и в гробу неловко… Горько во мне шевельнулась кровь. Доброе, доброе было существо, а для себя же хорошо сделала, что умерла!

У рассказчика раскраснелись щёки и потускнели глаза.

— Отделавшись наконец, — заговорил он опять, — от тяжёлого унынья, которое овладело мною после смерти моей жены, я вздумал было приняться, как говорится, за дело. Вступил в службу в губернском городе; но в больших комнатах казённого заведения у меня голова разбаливалась, глаза тоже плохо действовали; другие кстати подошли причины… я вышел в отставку. Хотел было съездить в Москву, да, во-первых, денег недостало, а во-вторых… я вам уже сказывал, что я смирился. Смирение это нашло на меня и вдруг и не вдруг. Духом-то я уже давно

смирился, да голове моей всё ещё не хотелось нагнуться. Я приписывал скромное настроение моих чувств и мыслей влиянию деревенской жизни, несчастья… С другой стороны, я уже давно замечал, что почти все мои соседи, молодые и старые, запуганные сначала моей учёностию, заграничной поездкой и прочими удобствами моего воспитания, не только успели совершенно ко мне привыкнуть, но даже начали обращаться со мной не то грубовато, не то с кондачка, не дослушивали моих рассуждений и, говоря со мной, уже «слово-ерика» более не употребляли. Я вам также забыл сказать, что в течение первого года после моего брака я от скуки попытался было пуститься в литературу и даже послал статейку в журнал, если не ошибаюсь, повесть; но через несколько времени получил от редактора учтивое письмо, в котором, между прочим, было сказано, что мне в уме невозможно отказать, но в таланте должно, а что в литературе только талант и нужен. Сверх того, дошло до моего сведения, что один проезжий москвич, добрейший, впрочем, юноша, мимоходом отозвался обо мне на вечере у губернатора как о человеке выдохшемся и пустом. Но моё полудобровольное ослепление всё ещё продолжалось: не хотелось, знаете, самого себя «заушить»;

наконец в одно прекрасное утро я открыл глаза. Вот как это случилось. Ко мне заехал исправник с намерением обратить моё внимание на провалившийся мост в моих владениях, который мне решительно не на что было починить. Заедая рюмку водки куском балыка, этот снисходительный блюститель порядка отечески попенял мне за мою неосмотрительность, впрочем, вошёл в моё положение и посоветовал только велеть мужичкам понакидать навозцу, закурил трубочку и принялся говорить о предстоящих выборах. Почётного звания губернского предводителя в то время добивался некто Орбассанов, пустой крикун да ещё и взяточник в придачу. Притом же он не отличался ни богатством, ни знатностию. Я высказал своё мнение на его счёт, и довольно даже небрежно: я, признаюсь, глядел на г. Орбассанова свысока. Исправник посмотрел на меня, ласково потрепал меня по плечу и добродушно промолвил: «Эх, Василий Васильич, не нам бы с вами о таких людях рассуждать, — где нам?.. Знай сверчок свой шесток». — «Да помилуйте, — возразил я с досадой, — какая же разница между мною и г. Орбассановым?» Исправник вынул трубку изо рта, вытаращил глаза — и так и прыснул. «Ну, потешник, — проговорил он наконец сквозь слё-

зы, — ведь экую штуку выкинул… а! каков?» — и до самого отъезда он не переставал глумиться надо мною, изредка поталкивая меня локтем под бок и говоря мне уже «ты». Он уехал наконец. Этой капли только недоставало; чаша перелилась. Я прошёлся несколько раз по комнате, остановился перед зеркалом, долго, долго смотрел на своё сконфуженное лицо и, медлительно высунув язык, с горькой насмешкой покачал головой. Завеса спала с глаз моих: я увидел ясно, яснее, чем лицо своё в зеркале, какой я был пустой, ничтожный и ненужный, неоригинальный человек!

Рассказчик помолчал.

— В одной трагедии Вольтера, — уныло продолжал он, — какой-то барин радуется тому, что дошёл до крайней границы несчастья. Хотя в судьбе моей нет ничего трагического, но я, признаюсь, изведал нечто в этом роде. Я узнал ядовитые восторги холодного отчаяния; я испытал, как сладко, в течение целого утра, не торопясь и лёжа на своей постели, проклинать день и час своего рождения, — я не мог смириться разом. Да и в самом деле, вы посудите: безденежье меня приковывало к ненавистной мне деревне; ни хозяйство, ни служба, ни литература — ничто ко мне не пристало; помещиков я чуждался,

книги мне опротивели; для водянисто-пухлых и болезненно-чувствительных барышень, встряхивающих кудрями и лихорадочно твердящих слово «жызнь», — я не представлял ничего занимательного с тех пор, как перестал болтать и восторгаться; уединиться совершенно я не умел и не мог… Я стал, что вы думаете? я стал таскаться по соседям. Словно опьянённый презреньем к самому себе, я нарочно подвергался всяким мелочным унижениям. Меня обносили за столом, холодно и надменно встречали, наконец не замечали вовсе; мне не давали даже вмешиваться в общий разговор, и я сам, бывало, нарочно поддакивал из угла какому-нибудь глупейшему говоруну, который во время óно, в Москве, с восхищением облобызал бы прах ног моих, край моей шинели… Я даже не позволял самому себе думать, что я предаюсь горькому удовольствию иронии… Помилуйте, что за ирония в одиночку! Вот-с как я поступал несколько лет сряду и как поступаю ещё до сих пор…

— Однако это ни на что не похоже, — проворчал из соседней комнаты заспанный голос г. Кантагрюхина, — какой там дурак вздумал ночью разговаривать?

Рассказчик проворно нырнул под одеяло и,

робко выглядывая, погрозил мне пальцем.

— Тс… тс… — прошептал он — и, словно извиняясь и кланяясь в направлении кантагрюхинского голоса, почтительно промолвил: — Слушаю-с, слушаю-с, извините-с… Ему позволительно спать, ему следует спать, — продолжал он снова шёпотом, — ему до́лжно набраться новых сил, ну хоть бы для того, чтобы с тем же удовольствием покушать завтра. Мы не имеем права его беспокоить. Притом же я, кажется, вам всё сказал, что хотел; вероятно, и вам хочется спать. Желаю вам доброй ночи.

Рассказчик с лихорадочной быстротой отвернулся и зарыл голову в подушки.

— Позвольте, по крайней мере, узнать, — спросил я, — с кем я имел удовольствие…

Он проворно поднял голову.

— Нет, ради бога, — прервал он меня, — не спрашивайте моего имени ни у меня, ни у других. Пусть я останусь для вас неизвестным существом, пришибленным судьбою Васильем Васильевичем. Притом же я, как человек неоригинальный, и не заслуживаю особенного имени… А уж если вы непременно хотите мне дать какую-нибудь кличку, так назовите… назовите меня Гамлетом Щигровского уезда. Таких Гамлетов во всяком

уезде много, но может быть, вы с другими не сталкивались… Засим прощайте.

Он опять зарылся в свой пуховик, а на другое утро, когда пришли будить меня, его уж не было в комнате. Он уехал до зари.

Живые мощи

Край родной долготерпенья —
Край ты русского народа!

Ф. Тютчев

Французская поговорка гласит: «Сухой рыбак и мокрый охотник являют вид печальный». Не имев никогда пристрастия к рыбной ловле, я не могу судить о том, что испытывает рыбак в хорошую, ясную погоду и насколько в ненастное время удовольствие, доставляемое ему обильной добычей, перевешивает неприятность быть мокрым. Но для охотника дождь — сущее бедствие. Именно такому бедствию подверглись мы с Ермолаем в одну из наших поездок за тетеревами в Белёвский уезд. С самой утренней зари дождь не переставал. Уж чего-чего мы не делали, чтобы от него избавиться! И резинковые плащики чуть не на самую голову надевали, и под деревья становились, чтобы поменьше капало… Непромокаемые плащики, не говоря уже о том, что мешали стрелять, пропускали воду самым бесстыдным образом; а под деревьями — точно, на первых порах, как будто и не капало, но потом

вдруг накопившаяся в листве влага прорывалась, каждая ветка обдавала нас, как из дождевой трубы, холодная струйка забиралась под галстук и текла вдоль спинного хребта… А уж это последнее дело, как выражался Ермолай.

— Нет, Пётр Петрович, — воскликнул он наконец. — Этак нельзя!.. Нельзя сегодня охотиться. Собакам чучье заливает; ружья отсекаются… Тьфу! Задача!

— Что же делать? — спросил я.

— А вот что. Поедемте в Алексеевку. Вы, может, не знаете — хуторок такой есть, матушке вашей принадлежит; отсюда вёрст восемь. Переночуем там, а завтра…

— Сюда вернёмся?

— Нет, не сюда… Мне за Алексеевкой места известны… многим лучше здешних для тетеревов!

Я не стал расспрашивать моего верного спутника, зачем он не повёз меня прямо в те места, и в тот же день мы добрались до матушкина хуторка, существования которого я, признаться сказать, и не подозревал до тех пор. При этом хуторке оказался флигелёк, очень ветхий, но нежилой и потому чистый; я провёл в нём довольно спокойную ночь.

На следующий день я проснулся ранёхонько.

Солнце только что встало; на небе не было ни одного облачка; всё кругом блестело сильным двойным блеском: блеском молодых утренних лучей и вчерашнего ливня. Пока мне закладывали таратайку, я пошёл побродить по небольшому, некогда фруктовому, теперь одичалому саду, со всех сторон обступившему флигелёк своей пахучей, сочной глушью. Ах, как было хорошо на вольном воздухе, под ясным небом, где трепетали жаворонки, откуда сыпался серебряный бисер их звонких голосов! На крыльях своих они, наверно, унесли капли росы, и песни их казались орошёнными росою. Я даже шапку снял с головы и дышал радостно — всею грудью… На склоне неглубокого оврага, возле самого плетня, виднелась пасека; узенькая тропинка вела к ней, извиваясь змейкой между сплошными стенами бурьяна и крапивы, над которыми высились, бог ведает откуда занесённые, остроконечные стебли тёмно-зелёной конопли.

Я отправился по этой тропинке; дошёл до пасеки. Рядом с нею стоял плетёный сарайчик, так называемый амшаник, куда ставят улья на зиму. Я заглянул в полуоткрытую дверь: темно, тихо, сухо; пахнет мятой, мелиссой. В углу приспособлены подмостки, и на них, прикрытая

одеялом, какая-то маленькая фигура… Я пошёл было прочь…

— Барин, а барин! Пётр Петрович! — послышался мне голос, слабый, медленный и сиплый, как шелест болотной осоки.

Я остановился.

— Пётр Петрович! Подойдите, пожалуйста! — повторил голос. Он доносился до меня из угла с тех, замеченных мною, подмостков.

Я приблизился — и остолбенел от удивления. Передо мною лежало живое человеческое существо, но что это было такое?

Голова совершенно высохшая, одноцветная, бронзовая — ни дать ни взять икона старинного письма; нос узкий, как лезвие ножа; губ почти не видать — только зубы белеют и глаза, да из-под платка выбиваются на лоб жидкие пряди жёлтых волос. У подбородка, на складке одеяла, движутся, медленно перебирая пальцами, как палочками, две крошечных руки тоже бронзового цвета. Я вглядываюсь попристальнее: лицо не только не безобразное, даже красивое, — но страшное, необычайное. И тем страшнее кажется мне это лицо, что по нём, по металлическим его щекам, я вижу — силится… силится и не может расплыться улыбка.

— Вы меня не узнаёте, барин? — прошептал опять голос; он словно испарялся из едва шевелившихся губ. — Да и где узнать! Я Лукерья… Помните, что хороводы у матушки у вашей в Спасском водила… помните, я ещё запевалой была?

— Лукерья! — воскликнул я. — Ты ли это? Возможно ли?

— Я, да, барин, — я. Я — Лукерья.

Я не знал, что сказать, и как ошеломлённый глядел на это тёмное, неподвижное лицо с устремлёнными на меня светлыми и мёртвенными глазами. Возможно ли? Эта мумия — Лукерья, первая красавица во всей нашей дворне, высокая, полная, белая, румяная, хохотунья, плясунья, певунья! Лукерья, умница Лукерья, за которою ухаживали все наши молодые парни, по которой я сам втайне вздыхал, я — шестнадцатилетний мальчик!

— Помилуй, Лукерья, — проговорил я наконец, — что это с тобой случилось?

— А беда такая стряслась! Да вы не побрезгуйте, барин, не погнушайтесь несчастием моим, — сядьте вон на кадушечку, поближе, а то вам меня не слышно будет… вишь я какая голосистая стала!.. Ну, уж и рада же я, что увидала вас! Как это

вы в Алексеевку попали?

Лукерья говорила очень тихо и слабо, но без остановки.

— Меня Ермолай-охотник сюда завёз. Но расскажи же ты мне…

— Про беду-то мою рассказать? Извольте, барин. Случилось это со мной уже давно, лет шесть или семь. Меня тогда только что помолвили за Василья Полякова — помните, такой из себя статный был, кудрявый, ещё буфетчиком у матушки у вашей служил? Да вас уже тогда в деревне не было; в Москву уехали учиться. Очень мы с Василием слюбились; из головы он у меня не выходил; а дело было весною. Вот раз ночью… уж и до зари недалеко… а мне не спится: соловей в саду таково удивительно поёт сладко!.. Не вытерпела я, встала и вышла на крыльцо его послушать. Заливается он, заливается… и вдруг мне почудилось: зовёт меня кто-то Васиным голосом, тихо так: «Луша!..» Я глядь в сторону, да, знать, спросонья оступилась, так прямо с рундучка и полетела вниз — да о́ землю хлоп! И, кажись, не сильно я расшиблась, потому — скоро поднялась и к себе в комнату вернулась. Только словно у меня что внутри — в утробе — порвалось… Дайте дух перевести… с минуточку… барин.

Лукерья умолкла, а я с изумлением глядел на неё. Изумляло меня собственно то, что она рассказ свой вела почти весело, без охов и вздохов, нисколько не жалуясь и не напрашиваясь на участие.

— С самого того случая, — продолжала Лукерья, — стала я сохнуть, чахнуть; чернота на меня нашла; трудно мне стало ходить, а там уже — и полно ногами владеть; ни стоять, ни сидеть не могу; всё бы лежала. И ни пить, ни есть не хочется: всё хуже да хуже. Матушка ваша по доброте своей и лекарям меня показывала, и в больницу посылала. Однако облегченья мне никакого не вышло. И ни один лекарь даже сказать не мог, что за болезнь у меня за такая. Чего они со мной только ни делали: железом раскалённым спину жгли, в колотый лёд сажали — и всё ничего. Совсем я окостенела под конец… Вот и порешили господа, что лечить меня больше нечего, а в барском доме держать калек неспособно… ну и переслали меня сюда — потому тут у меня родственники есть. Вот я и живу, как видите.

Лукерья опять умолкла и опять усилилась улыбнуться.

— Это, однако же, ужасно, твоё положение! — воскликнул я… и, не зная, что прибавить, спро-

сил: — А что же Поляков Василий? — Очень глуп был этот вопрос.

Лукерья отвела глаза немного в сторону.

— Что Поляков? Потужил, потужил — да и женился на другой, на девушке из Глинного. Знаете Глинное? От нас недалече. Аграфеной её звали. Очень он меня любил, да ведь человек молодой — не оставаться же ему холостым. И какая уж я ему могла быть подруга? А жену он нашёл себе хорошую, добрую, и детки у них есть. Он тут у соседа в приказчиках живёт: матушка ваша по пачпорту его отпустила, и очень ему, слава богу, хорошо.

— И так ты всё лежишь да лежишь? — спросил я опять.

— Вот так и лежу, барин, седьмой годок. Летом-то я здесь лежу, в этой плетушке, а как холодно станет — меня в предбанник перенесут. Там лежу.

— Кто же за тобой ходит? Присматривает кто?

— А добрые люди здесь есть тоже. Меня не оставляют. Да и ходьбы за мной немного. Есть-то почитай что не ем ничего, а вода — вон она в кружке-то: всегда стоит припасённая, чистая, ключевая вода. До кружки-то я сама дотянуться могу: одна рука у меня ещё действовать может.

Ну, девочка тут есть, сиротка; нет, нет — да и наведается, спасибо ей. Сейчас тут была… Вы её не встретили? Хорошенькая такая, беленькая. Она цветы мне носит; большая я до них охотница, до цветов-то. Садовых у нас нет, — были, да перевелись. Но ведь и полевые цветы хороши, пахнут ещё лучше садовых. Вот хоть бы ландыш… на что приятнее!

— И не скучно, не жутко тебе, моя бедная Лукерья?

— А что будешь делать? Лгать не хочу — сперва очень томно было; а потом привыкла, обтерпелась — ничего; иным ещё хуже бывает.

— Это каким же образом?

— А у иного и пристанища нет! А иной — слепой или глухой! А я, слава богу, вижу прекрасно и всё слышу, всё. Крот под землёю роется — я и то слышу. И запах я всякий чувствовать могу, самый какой ни на есть слабый! Гречиха в поле зацветёт или липа в саду — мне и сказывать не надо: я первая сейчас слышу. Лишь бы ветерком оттуда потянуло. Нет, что бога гневить? — многим хуже моего бывает. Хоть бы то взять: иной здоровый человек очень легко согрешить может; а от меня сам грех отошёл. Намеднись отец Алексей, священник, стал меня причащать, да

и говорит: «Тебя, мол, исповедовать нечего: разве ты в твоём состоянии согрешить можешь?» Но я ему ответила: «А мысленный грех, батюшка?» — «Ну, — говорит, а сам смеётся, — это грех не великий».

— Да я, должно быть, и этим самым, мысленным грехом не больно грешна, — продолжала Лукерья, — потому я так себя приучила: не думать, а пуще того — не вспоминать. Время скорей проходит.

Я, признаюсь, удивился.

— Ты всё одна да одна, Лукерья; как же ты можешь помешать, чтобы мысли тебе в голову не шли? Или ты всё спишь?

— Ой, нет, барин! Спать-то я не всегда могу. Хоть и больших болей у меня нет, а ноет у меня там, в самом нутре, и в костях тоже; не даёт спать как следует. Нет… а так лежу я себе, лежу-полёживаю — и не думаю; чую, что жива, дышу — и вся я тут. Смотрю, слушаю. Пчёлы на пасеке жужжат да гудят; голубь на крышу сядет и заворкует; курочка-наседочка зайдёт с цыплятами крошек поклевать; а то воробей залетит или бабочка — мне очень приятно. В позапрошлом году так даже ласточки вон там в углу гнездо себе свили и детей вывели. Уж как же оно было занятно!

Одна влетит, к гнёздышку припадёт, деток закормит — и вон. Глядишь — уж на смену ей другая. Иногда не влетит, только мимо раскрытой двери пронесётся, а детки тотчас — ну пищать да клювы разевать… Я их и на следующий год поджидала, да их, говорят, один здешний охотник из ружья застрелил. И на что покорыстился? Вся-то она, ласточка, не больше жука… Какие вы, господа охотники, злые!

— Я ласточек не стреляю, — поспешил я заметить.

— А то раз, — начала опять Лукерья, — вот смеху-то было! Заяц забежал, право! Собаки, что ли, за ним гнались, только он прямо в дверь как прикатит!.. Сел близёхонько и долго-таки сидел, всё носом водил и усами дёргал — настоящий офицер! И на меня смотрел. Понял, значит, что я ему не страшна. Наконец встал, прыг-прыг к двери, на пороге оглянулся — да и был таков! Смешной такой!

Лукерья взглянула на меня… аль, мол, не забавно? Я, в угоду ей, посмеялся. Она покусала пересохшие губы.

— Ну, зимою, конечно, мне хуже: потому — темно; свечку зажечь жалко, да и к чему? Я хоть грамоте знаю и читать завсегда охоча была, но

что читать? Книг здесь нет никаких, да хоть бы и были, как я буду держать её, книгу-то? Отец Алексей мне, для рассеянности, принёс календарь; да видит, что пользы нет, взял да унёс опять. Однако хоть и темно, а всё слушать есть что: сверчок затрещит али мышь где скрестись станет. Вот тут-то хорошо: не думать!

— А то я молитвы читаю, — продолжала, отдохнув немного, Лукерья. — Только немного я знаю их, этих самых молитв. Да и на что я стану господу богу наскучать? О чём я его просить могу? Он лучше меня знает, чего мне надобно. Послал он мне крест — значит, меня он любит. Так нам велено это понимать. Прочту «Отче наш», «Богородицу», акафист[35] «Всем скорбящим» — да и опять полёживаю себе безо всякой думочки. И ничего!

Прошло минуты две. Я не нарушал молчанья и не шевелился на узенькой кадушке, служившей мне сиденьем. Жёсткая, каменная неподвижность лежавшего передо мною живого, несчастного существа сообщилась и мне: я тоже словно оцепенел.

— Послушай, Лукерья, — начал я наконец. — Послушай, какое я тебе предложение сделаю.

---

[35] Примечания: 35

Ака́фист (*греч.*) — особые хвалебные песнопения в честь Спасителя, Божией Матери или святых.

Хочешь, я распоряжусь: тебя в больницу перевезут, в хорошую городскую больницу? Кто знает, быть может, тебя ещё вылечат? Во всяком случае, ты одна не будешь…

Лукерья чуть-чуть двинула бровями.

— Ох, нет, барин, — промолвила она озабоченным шёпотом, — не переводите меня в больницу, не трогайте меня. Я там только больше муки приму. Уж куда меня лечить!.. Вот так-то раз доктор сюда приезжал; осматривать меня захотел. Я его прошу: «Не тревожьте вы меня, Христа ради». Куда! переворачивать меня стал, руки, ноги разминал, разгинал; говорит: «Это я для учёности делаю; на то я служащий человек, учёный! И ты, говорит, не моги мне противиться, потому что мне за мои труды орден на шею дан, и я для вас же, дураков, стараюсь». Потормошил, потормошил меня, назвал мне мою болезнь — мудрено таково, — да с тем и уехал. А у меня потом целую неделю все косточки ныли. Вы говорите: я одна бываю, всегда одна. Нет, не всегда. Ко мне ходят. Я смирная — не мешаю. Девушки крестьянские зайдут, погуторят; странница забредёт, станет про Иерусалим рассказывать, про Киев, про святые города. Да мне и не страшно одной быть. Даже лучше, ей-ей!.. Барин, не трогайте меня, не возите

в больницу… Спасибо вам, вы добрый, только не трогайте меня, голубчик.

— Ну, как хочешь, как хочешь, Лукерья. Я ведь для твоей же пользы полагал…

— Знаю, барин, что для моей пользы. Да, барин, милый, кто другому помочь может? Кто ему в душу войдёт? Сам себе человек помогай! Вы вот не поверите — а лежу я иногда так-то одна… и словно никого в целом свете, кроме меня, нету. Только одна я — живая! И чудится мне, будто что меня осенит… Возьмёт меня размышление — даже удивительно.

— О чём же ты тогда размышляешь, Лукерья?

— Этого, барин, тоже никак нельзя сказать: не растолкуешь. Да и забывается оно потом. Придёт, словно как тучка, прольётся, свежо так, хорошо станет, а что такое было — не поймёшь! Только думается мне: будь около меня люди — ничего бы этого не было, и ничего бы я не чувствовала, окромя своего несчастья.

Лукерья вздохнула с трудом. Грудь ей не повиновалась — так же, как и остальные члены.

— Как погляжу я, барин, на вас, — начала она снова, — очень вам меня жалко. А вы меня не слишком жалейте, право! Я вам, например, что скажу: я иногда и теперь… Вы ведь помните, ка-

кая я была в своё время весёлая? Бой-девка!.. так знаете что? Я и теперь песни пою.

— Песни?.. Ты?

— Да, песни, старые песни, хороводные, подблюдные, святочные, всякие! Много я их ведь знала и не забыла. Только вот плясовых не пою. В теперешнем моём звании оно не годится.

— Как же ты поёшь их… про себя?

— И про себя и голосом. Громко-то не могу, а всё — понять можно. Вот я вам сказывала — девочка ко мне ходит. Сиротка, значит, понятливая. Так вот я её выучила; четыре песни она уже у меня переняла. Аль не верите? Постойте, я вам сейчас…

Лукерья собралась с духом… Мысль, что это полумёртвое существо готовится запеть, возбудила во мне невольный ужас. Но прежде чем я мог промолвить слово — в ушах моих задрожал протяжный, едва слышный, но чистый и верный звук… за ним последовал другой, третий. «Во лузях» пела Лукерья. Она пела, не изменив выражения своего окаменелого лица, уставив даже глаза. Но так трогательно звенел этот бедный, усиленный, как струйка дыма колебавшийся голосок, так хотелось ей всю душу вылить… Уже не ужас чувствовал я: жалость несказанная стиснула мне сердце.

— Ох, не могу! — проговорила она вдруг, — силушки не хватает… Очень уж я вам обрадовалась.

Она закрыла глаза.

Я положил руку на её крошечные холодные пальчики… Она взглянула на меня — и её тёмные веки, опушённые золотистыми ресницами, как у древних статуй, закрылись снова. Спустя мгновенье они заблистали в полутьме… Слеза их смочила.

Я не шевелился по-прежнему.

— Экая я! — проговорила вдруг Лукерья с неожиданной силой и, раскрыв широко глаза, постаралась смигнуть с них слезу. — Не стыдно ли? Чего я? Давно этого со мной не случалось… с самого того дня, как Поляков Вася у меня был прошлой весной. Пока он со мной сидел да разговаривал — ну, ничего; а как ушёл он — поплакала я таки в одиночку! Откуда бралось!.. Да ведь у нашей сестры слёзы некупленные. Барин, — прибавила Лукерья, — чай, у вас платочек есть… Не побрезгуйте, утрите мне глаза.

Я поспешил исполнить её желание — и платок ей оставил. Она сперва отказывалась… на что, мол, мне такой подарок? Платок был очень простой, но чистый и белый. Потом она схватила его

своими слабыми пальцами и уже не разжала их более. Привыкнув к темноте, в которой мы оба находились, я мог ясно различить её черты, мог даже заметить тонкий румянец, проступивший сквозь бронзу её лица, мог открыть в этом лице — так, по крайней мере, мне казалось — следы его бывалой красоты.

— Вот вы, барин, спрашивали меня, — заговорила опять Лукерья, — сплю ли я? Сплю я, точно, редко, но всякий раз сны вижу, — хорошие сны! Никогда я больной себя не вижу: такая я всегда во сне здоровая да молодая… Одно горе: проснусь я — потянуться хочу хорошенько — ан я вся как скованная. Раз мне какой чудный сон приснился! Хотите, расскажу вам? — Ну, слушайте. — Вижу я, будто стою я в поле, а кругом рожь, такая высокая, спелая, как золотая!.. И будто со мной собачка рыженькая, злющая-презлющая — всё укусить меня хочет. И будто в руках у меня серп, и не простой серп, а самый как есть месяц, вот когда он на серп похож бывает. И этим самым месяцем должна я эту самую рожь сжать дочиста. Только очень меня от жары растомило, и месяц меня слепит, и лень на меня нашла; а кругом васильки растут, да такие крупные! И все ко мне головками повернулись. И думаю я: нарву я этих васильков;

Вася прийти обещался — так вот я себе венок сперва совью! Жать-то я ещё успею. Начинаю я рвать васильки, а они у меня промеж пальцев тают да тают, хоть ты что! И не могу я себе венок свить. А между тем я слышу — кто-то уж идёт ко мне, близко таково, и зовёт: Луша! Луша!.. Ай, думаю, беда — не успела! Всё равно, надену я себе на голову этот месяц заместо васильков. Надеваю я месяц, ровно как кокошник, и так сама сейчас вся засияла, всё поле кругом осветила. Глядь — по самым верхушкам колосьев катит ко мне скорёхонько — только не Вася, а сам Христос! И почему я узнала, что это Христос, сказать не могу, — таким его не пишут, — а только он! Безбородый, высокий, молодой, весь в белом, — только пояс золотой, — и ручку мне протягивает. «Не бойся, говорит, невеста моя разубранная, ступай за мною; ты у меня в царстве небесном хороводы водить будешь и песни играть райские». И я к его ручке как прильну! Собачка моя сейчас меня за ноги… но тут мы взвились! Он впереди… Крылья у него по всему небу развернулись, длинные, как у чайки, — и я за ним! И собачка должна отстать от меня. Тут только я поняла, что эта собачка — болезнь моя и что в царстве небесном ей уже места не будет.

Лукерья умолкла на минуту.

— А то ещё видела я сон, — начала она снова, — а быть может, это было мне видение — я уж и не знаю. Почудилось мне, будто я в самой этой плетушке лежу и приходят ко мне мои покойные родители — батюшка да матушка — и кланяются мне низко, а сами ничего не говорят. И спрашиваю я их: зачем вы, батюшка и матушка, мне кланяетесь? А затем, говорят, что так как ты на сём свете много мучишься, то не одну ты свою душеньку облегчила, но и с нас большую тягу сняла. И нам на том свете стало много способнее. Со своими грехами ты уже покончила; теперь наши грехи побеждаешь. И, сказавши это, родители мне опять поклонились — и не стало их видно: одни стены видны. Очень я потом сомневалась, что это такое со мною было. Даже батюшке на духу рассказала. Только он так полагает, что это было не видение, потому что видения бывают одному духовному чину.

— А то вот ещё какой мне был сон, — продолжала Лукерья. — Вижу я, что сижу я этак будто на большой дороге под ракитой, палочку держу оструганную, котомка за плечами и голова платком окутана — как есть странница! И идти мне куда-то далеко-далеко на богомолье. И проходят

мимо меня всё странники; идут они тихо, словно нехотя, всё в одну сторону; лица у всех унылые и друг на дружку все очень похожи. И вижу я: вьётся, мечется между ними одна женщина, целой головой выше других, и платье на ней особенное, словно не наше, не русское. И лицо тоже особенное, постное лицо, строгое. И будто все другие от неё сторонятся; а она вдруг верть — да прямо ко мне. Остановилась и смотрит; а глаза у ней, как у сокола, жёлтые, большие и светлые-пресветлые. И спрашиваю я её: «Кто ты?» А она мне говорит: «Я смерть твоя». Мне чтобы испугаться, а я напротив — рада-радёхонька, крещусь! И говорит мне та женщина, смерть моя: «Жаль мне тебя, Лукерья, но взять я тебя с собою не могу. Прощай!» Господи! Как мне тут грустно стало!.. «Возьми меня, говорю, матушка, голубушка, возьми!» И смерть моя обернулась ко мне, стала мне выговаривать… Понимаю я, что назначает она мне мой час, да непонятно так, неявственно… После, мол, петровок… С этим я проснулась… Такие-то у меня бывают сны удивительные!

Лукерья подняла глаза кверху… задумалась…

— Только вот беда моя: случается, целая неделя пройдёт, а я не засну ни разу. В прошлом году барыня одна проезжала, увидела меня, да и дала

мне скляночку с лекарством против бессонницы; по десяти капель приказала принимать. Очень мне помогало, и я спала; только теперь давно та скляночка выпита… Не знаете ли, что это было за лекарство и как его получить?

Проезжавшая барыня, очевидно, дала Лукерье опиума. Я обещался доставить ей такую скляночку и опять-таки не мог не подивиться вслух её терпенью.

— Эх, барин! — возразила она. — Что вы это? Какое такое терпение? Вот Симеона Столпника терпение было точно великое: тридцать лет на столбу простоял! А другой угодник себя в землю зарыть велел по самую грудь, и муравьи ему лицо ели… А то вот ещё мне сказывал один начётчик: была некая страна, и ту страну агаряне завоевали, и всех жителев они мучили и убивали; и что ни делали жители, освободить себя никак не могли. И проявись тут между теми жителями святая девственница; взяла она меч великий, латы на себя возложила двухпудовые, пошла на агарян и всех их прогнала за море. А только прогнавши их, говорит им: «Теперь вы меня сожгите, потому что такое было моё обещание, чтобы мне огненною смертью за свой народ помереть». И агаряне её взяли и сожгли, а народ с той поры навсегда

освободился! Вот это подвиг! А я что!

Подивился я тут про себя, куда и в каком виде зашла легенда об Иоанне д'Арк, и, помолчав немного, спросил Лукерью: сколько ей лет?

— Двадцать восемь… али девять… Тридцати не будет. Да что их считать, года-то! Я вам ещё вот что доложу…

Лукерья вдруг как-то глухо кашлянула, охнула…

— Ты много говоришь, — заметил я ей, — это может тебе повредить.

— Правда, — прошептала она едва слышно, — разговорке нашей конец; да куда ни шло! Теперь, как вы уедете, намолчусь я вволю. По крайности, душу отвела…

Я стал прощаться с нею, повторил ей моё обещание прислать ей лекарство, попросил её ещё раз хорошенько подумать и сказать мне — не нужно ли ей чего?

— Ничего мне не нужно; всем довольна, слава богу, — с величайшим усилием, но умилённо произнесла она. — Дай бог всем здоровья! А вот вам бы, барин, матушку вашу уговорить — крестьяне здешние бедные — хоть бы малость оброку с них она сбавила! Земли у них недостаточно, угодий нет… Они бы за вас богу помолились… А мне

ничего не нужно — всем довольна.

Я дал Лукерье слово исполнить её просьбу и подходил уже к дверям… она подозвала меня опять.

— Помните, барин, — сказала она, и чудное что-то мелькнуло в её глазах и на губах, — какая у меня была коса? Помните — до самых колен? Я долго не решалась… Этакие волосы!.. Но где же их было расчёсывать? В моём-то положении!.. Так уж я их и обрезала. Да… Ну, простите, барин! Больше не могу…

В тот же день, прежде чем отправиться на охоту, был у меня разговор о Лукерье с хуторским десятским. Я узнал от него, что её в деревне прозывали «Живые мощи», что, впрочем, от неё никакого не видать беспокойства; ни ропота от неё не слыхать, ни жалоб. «Сама ничего не требует, а напротив — за всё благодарна; тихоня, как есть тихоня, так сказать надо. Богом убитая, — так заключил десятский, — стало быть, за грехи; но мы в это не входим. А чтобы, например, осуждать её — нет, мы её не осуждаем. Пущай её!»

Несколько недель спустя я узнал, что Лукерья скончалась. Смерть пришла-таки за ней… и «после петровок». Рассказывали, что в самый день кончины она всё слышала колокольный

звон, хотя от Алексеевки до церкви считают пять вёрст с лишком и день был будничный. Впрочем, Лукерья говорила, что звон шёл не от церкви, а «сверху». Вероятно, она не посмела сказать: с неба.

Лес и степь

… И понемногу начало назад
Его тянуть: в деревню, в тёмный сад,
Где липы так огромны, так тенисты,
И ландыши так девственно душисты,
Где круглые ракиты над водой
С плотины наклонились чередой,
Где тучный дуб растёт над тучной нивой,
Где пахнет конопелью да крапивой…
Туда, туда, в раздольные поля.
Где бархатом чернеется земля,
Где рожь, куда ни киньте вы глазами,
Струится тихо мягкими волнами.
И падает тяжёлый жёлтый луч
Из-за прозрачных, белых, круглых туч;
Там хорошо……

(Из поэмы, преданной сожжению)

Читателю, может быть, уже наскучили мои записки; спешу успокоить его обещанием огра-

ничиться напечатанными отрывками; но, расставаясь с ним, не могу не сказать несколько слов об охоте.

Охота с ружьём и собакой прекрасна сама по себе, für sich, как говаривали в старину; но, положим, вы не родились охотником: вы всё-таки любите природу; вы, следовательно, не можете не завидовать нашему брату… Слушайте.

Знаете ли вы, например, какое наслаждение выехать весной до зари? Вы выходите на крыльцо… На тёмно-сером небе кое-где мигают звёзды; влажный ветерок изредка набегает лёгкой волной; слышится сдержанный, неясный шёпот ночи; деревья слабо шумят, облитые тенью. Вот кладут ковёр на телегу, ставят в ноги ящик с самоваром. Пристяжные ёжатся, фыркают и щеголевато переступают ногами; пара только что проснувшихся белых гусей молча и медленно перебирается через дорогу. За плетнём, в саду, мирно похрапывает сторож; каждый звук словно стоит в застывшем воздухе, стоит и не проходит. Вот вы сели; лошади разом тронулись, громко застучала телега… Вы едете — едете мимо церкви, с горы направо, через плотину… Пруд едва начинает дымиться. Вам холодно немножко, вы закрываете лицо воротником шинели; вам

дремлется. Лошади звучно шлёпают ногами по лужам; кучер посвистывает. Но вот вы отъехали версты четыре… Край неба алеет; в берёзах просыпаются, неловко перелётывают галки; воробьи чирикают около тёмных скирд. Светлеет воздух, видней дорога, яснеет небо, белеют тучки, зеленеют поля. В избах красным огнём горят лучины, за воротами слышны заспанные голоса. А между тем заря разгорается; вот уже золотые полосы протянулись по небу, в оврагах клубятся пары; жаворонки звонко поют, предрассветный ветер подул — и тихо всплывает багровое солнце. Свет так и хлынет потоком; сердце в вас встрепенётся, как птица. Свежо, весело, любо! Далеко видно кругом. Вон за рощей деревня; вон подальше другая с белой церковью, вон берёзовый лесок на горе; за ним болото, куда вы едете… Живее, кони, живее! Крупной рысью вперёд!.. Версты три осталось, не больше. Солнце быстро поднимается; небо чисто… Погода будет славная. Стадо потянулось из деревни к вам навстречу. Вы взобрались на гору… Какой вид! Река вьётся вёрст на десять, тускло синея сквозь туман; за ней водянисто-зелёные луга; за лугами пологие холмы; вдали чибисы с криком вьются над болотом; сквозь влажный блеск, разлитый в воздухе, ясно выступает даль…

не то, что летом. Как вольно дышит грудь, как бодро движутся члены, как крепнет весь человек, охваченный свежим дыханьем весны!..

А летнее, июльское утро! Кто, кроме охотника, испытал, как отрадно бродить на заре по кустам? Зелёной чертой ложится след ваших ног по росистой, побелевшей траве. Вы раздвинете мокрый куст — вас так и обдаст накопившимся тёплым запахом ночи; воздух весь напоён свежей горечью полыни, мёдом гречихи и «кашки»; вдали стеной стоит дубовый лес и блестит и алеет на солнце; ещё свежо, но уже чувствуется близость жары. Голова томно кружится от избытка благоуханий. Кустарнику нет конца… Кое-где разве вдали желтеет поспевающая рожь, узкими полосками краснеет гречиха. Вот заскрипела телега; шагом пробирается мужик, ставит заранее лошадь в тень… Вы поздоровались с ним, отошли — звучный лязг косы раздаётся за вами. Солнце всё выше и выше. Быстро сохнет трава. Вот уже жарко стало. Проходит час, другой… Небо темнеет по краям; колючим зноем пышет неподвижный воздух.

— Где бы, брат, тут напиться? — спрашиваете вы у косаря.

— А вон, в овраге, колодезь.

Сквозь густые кусты орешника, перепутанные цепкой травой, спускаетесь вы на дно оврага. Точно: под самым обрывом таится источник; дубовый куст жадно раскинул над водою свои лапчатые сучья; большие серебристые пузыри, колыхаясь, поднимаются со дна, покрытого мелким, бархатным мхом. Вы бросаетесь на землю, вы напились, но вам лень пошевельнуться. Вы в тени, вы дышите пахучей сыростью; вам хорошо, а против вас кусты раскаляются и словно желтеют на солнце. Но что это? Ветер внезапно налетел и промчался; воздух дрогнул кругом: уж не гром ли? Вы выходите из оврага… что за свинцовая полоса на небосклоне? Зной ли густеет? туча ли надвигается?.. Но вот слабо сверкнула молния… Э, да это гроза! Кругом ещё ярко светит солнце: охотиться ещё можно. Но туча растёт: передний её край вытягивается рукавом, наклоняется сводом. Трава, кусты, всё вдруг потемнело… Скорей! вон, кажется, виднеется сенной сарай… скорее!.. Вы добежали, вошли… Каков дождик? каковы молнии? Кое-где сквозь соломенную крышу закапала вода на душистое сено… Но вот солнце опять заиграло. Гроза прошла; вы выходите. Боже мой, как весело сверкает всё кругом, как воздух свеж и жидок, как пахнет земляникой и грибами!..

Но вот наступает вечер. Заря запылала пожаром и обхватила полнеба. Солнце садится. Воздух вблизи как-то особенно прозрачен, словно стеклянный; вдали ложится мягкий пар, тёплый на вид; вместе с росой падает алый блеск на поляны, ещё недавно облитые потоками жидкого золота. От деревьев, от кустов, от высоких стогов сена побежали длинные тени… Солнце село; звезда зажглась и дрожит в огнистом море заката… Вот оно бледнеет; синеет небо; отдельные тени исчезают, воздух наливается мглою. Пора домой, в деревню, в избу, где вы ночуете… Закинув ружьё за плечи, быстро идёте вы, несмотря на усталость… А между тем наступает ночь; за двадцать шагов уже не видно; собаки едва белеют во мраке. Вон над чёрными кустами край неба смутно яснеет… Что это? пожар?.. Нет, это восходит луна. А вон внизу, направо, уже мелькают огоньки деревни… Вот наконец и ваша изба. Сквозь окошко видите вы стол, покрытый белой скатертью, горящую свечу, ужин…

А то велишь заложить беговые дрожки и поедешь в лес на рябчиков. Весело пробираться по узкой дорожке, между двумя стенами высокой ржи. Колосья тихо бьют вас по лицу, васильки цепляются за ноги, перепела кричат кругом,

лошадь бежит ленивой рысью. Вот и лес. Тень и тишина. Статные осины высоко лепечут над вами; длинные, висячие ветки берёз едва шевелятся; могучий дуб стоит, как боец, подле красивой липы. Вы едете по зелёной, испещрённой тенями дорожке; большие жёлтые мухи неподвижно висят в золотистом воздухе и вдруг отлетают; мошки вьются столбом, светлея в тени, темнея на солнце; птицы мирно поют. Золотой голосок малиновки звучит невинной, болтливой радостью: он идёт к запаху ландышей. Далее, далее, глубже в лес… Лес глохнет… Неизъяснимая тишина западает в душу; да и кругом так дремотно и тихо. Но вот ветер набежал, и зашумели верхушки, словно падающие волны. Сквозь прошлогоднюю бурую листву кое-где растут высокие травы; грибы стоят отдельно под своими шляпками. Беляк вдруг выскочит, собака с звонким лаем помчится вслед…

И как этот же самый лес хорош поздней осенью, когда прилетают вальдшнепы! Они не держатся в самой глуши: их надобно искать вдоль опушки. Ветра нет, и нет ни солнца, ни света, ни тени, ни движенья, ни шума; в мягком воздухе разлит осенний запах, подобный запаху вина; тонкий туман стоит вдали над жёлтыми полями. Сквозь

обнажённые, бурые сучья деревьев мирно белеет неподвижное небо; кое-где на липах висят последние золотые листья. Сырая земля упруга под ногами; высокие сухие былинки не шевелятся; длинные нити блестят на побледневшей траве. Спокойно дышит грудь, а на душу находит странная тревога. Идёшь вдоль опушки, глядишь за собакой, а между тем любимые образы, любимые лица, мёртвые и живые, приходят на память, давным-давно заснувшие впечатления неожиданно просыпаются; воображенье реет и носится, как птица, и всё так ясно движется и стоит перед глазами. Сердце то вдруг задрожит и забьётся, страстно бросится вперёд, то безвозвратно потонет в воспоминаниях. Вся жизнь развёртывается легко и быстро, как свиток; всем своим прошедшим, всеми чувствами, силами, всею своею душою владеет человек. И ничего кругом ему не мешает — ни солнца нет, ни ветра, ни шуму…

А осенний, ясный, немножко холодный, утром морозный день, когда берёза, словно сказочное дерево, вся золотая, красиво рисуется на бледно-голубом небе, когда низкое солнце уже не греет, но блестит ярче летнего, небольшая осиновая роща вся сверкает насквозь, словно ей весело и легко стоять голой, изморозь ещё белеет на дне

долин, а свежий ветер тихонько шевелит и гонит упавшие покоробленные листья, — когда по реке радостно мчатся синие волны, мерно вздымая рассеянных гусей и уток; вдали мельница стучит, полузакрытая вербами, и, пестрея в светлом воздухе, голуби быстро кружатся над ней…

Хороши также летние туманные дни, хотя охотники их и не любят. В такие дни нельзя стрелять: птица, выпорхнув у вас из-под ног, тотчас же исчезает в беловатой мгле неподвижного тумана. Но как тихо, как невыразимо тихо всё кругом! Всё проснулось, и всё молчит. Вы проходите мимо дерева — оно не шелохнётся: оно нежится. Сквозь тонкий пар, ровно разлитый в воздухе, чернеется перед вами длинная полоса. Вы принимаете её за близкий лес; вы подходите — лес превращается в высокую грядку полыни на меже. Над вами, кругом вас — всюду туман… Но вот ветер слегка шевельнётся — клочок бледно-голубого неба смутно выступит сквозь редеющий, словно задымившийся пар, золотисто-жёлтый луч ворвётся вдруг, заструится длинным потоком, ударит по полям, упрётся в рощу — и вот опять всё заволоклось. Долго продолжается эта борьба; но как несказанно великолепен и ясен становится день, когда свет наконец восторжествует и последние

волны согретого тумана то скатываются и расстилаются скатертями, то взвиваются и исчезают в глубокой, нежно сияющей вышине…

Но вот вы собрались в отъезжее поле, в степь. Вёрст десять пробирались вы по просёлочным дорогам — вот, наконец, большая. Мимо бесконечных обозов, мимо постоялых двориков с шипящим самоваром под навесом, раскрытыми настежь воротами и колодезем, от одного села до другого, через необозримые поля, вдоль зелёных конопляников, долго, долго едете вы. Сороки перелетают с ракиты на ракиту; бабы, с длинными граблями в руках, бредут в поле; прохожий человек в поношенном нанковом кафтане, с котомкой за плечами, плетётся усталым шагом; грузная помещичья карета, запряжённая шестериком рослых и разбитых лошадей, плывёт вам навстречу. Из окна торчит угол подушки, а на запятках, на кульке, придерживаясь за верёвочку, сидит боком лакей в шинели, забрызганный до самых бровей. Вот уездный городок с деревянными кривыми домишками, бесконечными заборами, купеческими необитаемыми каменными строениями, старинным мостом над глубоким оврагом… Далее, далее!.. Пошли степные места. Глянешь с горы — какой вид! Круглые, низкие

холмы, распаханные и засеянные доверху, разбегаются широкими волнами; заросшие кустами овраги вьются между ними; продолговатыми островами разбросаны небольшие рощи; от деревни до деревни бегут узкие дорожки; церкви белеют; между лозниками сверкает речка, в четырёх местах перехваченная плотинами; далеко в поле гуськом торчат драхвы; старенький господский дом со своими службами, фруктовым садом и гумном приютился к небольшому пруду. Но далее, далее едете вы. Холмы всё мельче и мельче, дерева почти не видать. Вот она, наконец, — безграничная, необозримая степь!

А в зимний день ходить по высоким сугробам за зайцами, дышать морозным, острым воздухом, невольно щуриться от ослепительного мелкого сверканья мягкого снега, любоваться зелёным цветом неба над красноватым лесом!.. А первые весенние дни, когда кругом всё блестит и обрушается, сквозь тяжёлый пар талого снега уже пахнет согретой землёй, на проталинках, под косым лучом солнца, доверчиво поют жаворонки, и, с весёлым шумом и рёвом, из оврага в овраг клубятся потоки…

Однако пора кончить. Кстати заговорил я о

весне: весной легко расставаться, весной и счастливых тянет вдаль… Прощайте, читатель: желаю вам постоянного благополучия.

Муму

В одной из отдалённых улиц Москвы, в сером доме с белыми колоннами, антресолью[36] и покривившимся балконом, жила некогда барыня, вдова, окружённая многочисленною дворней[37]. Сыновья её служили в Петербурге, дочери вышли замуж; она выезжала редко и уединённо доживала последние годы своей скупой и скучающей старости. День её, нерадостный и ненастный, давно прошёл; но и вечер её был чернее ночи.

Из числа всей её челяди[38] самым замечательным лицом был дворник Герасим, мужчина двенадцати вершков роста, сложённый богатырём и глухонемой от рожденья. Барыня взяла его из деревни, где он жил один, в небольшой избушке, отдельно от братьев, и считался едва

---

[36] Примечания: 36

Антресо́ль — верхний полуэтаж дома, половинный этаж в высоких комнатах в особняках XVIII–XIX вв.

[37] Примечания: 37

Дво́рня — домашняя прислуга в барском доме, дворовые люди.

[38] Примечания: 38

Че́лядь — дворовые слуги, прислуга в помещичьем доме.

ли не самым исправным тягловым[39] мужиком. Одарённый необычайной силой, он работал за четверых — дело спорилось в его руках, и весело было смотреть на него, когда он либо пахал и, налегая огромными ладонями на соху, казалось, один, без помощи лошадёнки, взрезывал упругую грудь земли, либо о Петров день так сокрушительно действовал косой, что хоть бы молодой берёзовый лесок смахивать с корней долой, либо проворно и безостановочно молотил трёхаршинным[40] цепом, и, как рычаг, опускались и поднимались продолговатые и твёрдые мышцы его плечей. Постоянное безмолвие придавало торжественную важность его неистомной работе. Славный он был мужик, и не будь его несчастье, всякая девка охотно пошла бы за него замуж… Но вот Герасима привезли в Москву, купили ему сапоги, сшили кафтан на лето, на зиму тулуп, дали ему в руки метлу и лопату и определили его дворником.

Крепко не полюбилось ему сначала его новое

---

[39] Примечания: 39

Тя́гловый — несущий определённую крепостную повинность (барщину или оброк).

[40] Примечания: 40

Трёхарши́нный — равный трём аршинам, или одной сажени — 2,13 метра. Арши́н — старинная русская мера длины, равная 0,71 метра.

житьё. С детства привык он к полевым работам, к деревенскому быту. Отчуждённый несчастьем своим от сообщества людей, он вырос немой и могучий, как дерево растёт на плодородной земле… Переселённый в город, он не понимал, что с ним такое деется, — скучал и недоумевал, как недоумевает молодой, здоровый бык, которого только что взяли с нивы, где сочная трава росла ему по брюхо, взяли, поставили на вагон железной дороги — и вот, обдавая его тучное тело то дымом с искрами, то волнистым паром, мчат его теперь, мчат со стуком и визгом, а куда мчат — бог весть!

Занятия Герасима по новой его должности казались ему шуткой после тяжких крестьянских работ; в полчаса всё у него было готово, и он опять то останавливался посреди двора и глядел, разинув рот, на всех проходящих, как бы желая добиться от них решения загадочного своего положения, то вдруг уходил куда-нибудь в уголок и, далеко швырнув метлу и лопату, бросался на землю лицом и целые часы лежал на груди неподвижно, как пойманный зверь. Но ко всему привыкает человек, и Герасим привык наконец к городскому житью. Дела у него было немного; вся обязанность его состояла в том, чтобы двор содер-

жать в чистоте, два раза в день привезти бочку с водой, натаскать и наколоть дров для кухни и дома да чужих не пускать и по ночам караулить. И надо сказать, усердно исполнял он свою обязанность: на дворе у него никогда ни щепок не валялось, ни сору; застрянет ли в грязную пору где-нибудь с бочкой отданная под его начальство разбитая кляча-водовозка, он только двинет плечом — и не только телегу, самоё лошадь спихнёт с места; дрова ли примется он колоть, топор так и звенит у него, как стекло, и летят во все стороны осколки и поленья; а что насчёт чужих, так после того, как он однажды ночью, поймав двух воров, стукнул их друг о дружку лбами, да так стукнул, что хоть в полицию их потом не води, все в околотке очень стали уважать его; даже днём проходившие, вовсе уже не мошенники, а просто незнакомые люди, при виде грозного дворника отмахивались и кричали на него, как будто он мог слышать их крики. Со всей остальной челядью Герасим находился в отношениях не то чтобы приятельских — они его побаивались, — а коротких: он считал их за своих. Они с ним объяснялись знаками, и он их понимал, в точности исполнял все приказания, но права свои тоже знал, и уже никто не смел садиться на его место в

застóлице. Вообще Герасим был нрава строгого и серьёзного, любил во всём порядок; даже петухи при нём не смели драться — а то беда! Увидит, тотчас схватит за ноги, повертит раз десять на воздухе колесом и бросит врозь. На дворе у барыни водились тоже гуси; но гусь, известно, птица важная и рассудительная; Герасим чувствовал к ним уважение, ходил за ними и кормил их; он сам смахивал на степенного гусака. Ему отвели над кухней каморку; он устроил её себе сам, по своему вкусу: соорудил в ней кровать из дубовых досок на четырёх чурбанах — истинно богатырскую кровать; сто пудов можно было положить на неё — не погнулась бы; под кроватью находился дюжий сундук; в уголку стоял столик такого же крепкого свойства, а возле столика — стул на трёх ножках, да такой прочный и приземистый, что сам Герасим, бывало, поднимет его, уронит и ухмыльнётся. Каморка запиралась на замок, напоминавший своим видом калач, только чёрный; ключ от этого замка Герасим всегда носил с собой на пояске. Он не любил, чтобы к нему ходили.

Так прошёл год, по окончании которого с Герасимом случилось небольшое происшествие.

Старая барыня, у которой он жил в дворниках, во всём следовала древним обычаям и прислугу

держала многочисленную; в доме у ней находились не только прачки, швеи, столяры, портные и портнихи — был даже один шорник[41], он же считался ветеринарным врачом и лекарем для людей, был домашний лекарь для госпожи, был, наконец, один башмачник по имени Капитон Климов, пьяница горький. Климов почитал себя существом обиженным и не оценённым по достоинству человеком, образованным и столичным, которому не в Москве бы жить, без дела, в каком-то захолустье, и если пил, как он сам выражался, с расстановкой и стуча себя в грудь, то пил уже именно с горя. Вот зашла однажды о нём речь у барыни с её главным дворецким, Гаврилой, человеком, которому, судя по одним его жёлтым глазкам и утиному носу, сама судьба, казалось, определила быть начальствующим лицом. Барыня сожалела об испорченной нравственности Капитона, которого накануне только что отыскали где-то на улице.

— А что, Гаврила, — заговорила вдруг она, — не женить ли нам его, как ты думаешь? Может, он остепенится.

---

[41] Примечания: 41

Шо́рник — мастер по изготовлению конской упряжи, в том числе и шор — пластин-наглазников, которые закрывают лошади обзор по бокам, чтобы она не пугалась от посторонних движений.

— Отчего же не женить-с! Можно-с, — ответил Гаврила, — и очень даже будет хорошо-с.

— Да, только кто за него пойдёт?

— Конечно-с. А впрочем, как вам будет угодно-с. Всё же он, так сказать, на что-нибудь может быть потребен; из десятка его не выкинешь.

— Кажется, ему Татьяна нравится?

Гаврила хотел было что-то возразить, да сжал губы.

— Да!.. пусть посватает Татьяну, — решила барыня, с удовольствием понюхивая табачок, — слышишь?

— Слушаю-с, — произнёс Гаврила и удалился.

Возвратясь в свою комнату (она находилась во флигеле[42] и была почти вся загромождена кованными сундуками), Гаврила сперва выслал вон свою жену, а потом подсел к окну и задумался. Неожиданное распоряжение барыни его, видимо, озадачило. Наконец, он встал и велел кликнуть Капитона. Капитон явился… Но прежде чем мы передадим читателям их разговор, считаем нелишним рассказать в немногих словах, кто была эта Татьяна, на которой приходилось Капитону жениться, и почему повеление барыни

---

[42] Примечания: 42

Фли́гель — жилая пристройка к главному зданию или отдельно стоящий небольшой дом во дворе.

смутило дворецкого.

Татьяна, состоявшая, как мы сказали выше, в должности прачки (впрочем, ей, как искусной и учёной прачке, поручалось одно тонкое бельё), была женщина лет двадцати осьми, маленькая, худая, белокурая, с родинками на левой щеке. Родинки на левой щеке почитаются на Руси худой приметой — предвещанием несчастной жизни… Татьяна не могла похвалиться своей участью. С ранней молодости её держали в чёрном теле; работала она за двоих, а ласки никакой никогда не видала; одевали её плохо, жалованье она получала самое маленькое; родни у ней всё равно что не было: один какой-то старый ключник, оставленный за негодностью в деревне, доводился ей дядей, да другие дядья у ней в мужиках состояли — вот и всё. Когда-то она слыла красавицей, но красота с неё очень скоро соскочила. Нрава она была весьма смирного или, лучше сказать, запуганного, к самой себе она чувствовала полное равнодушие, других боялась смертельно; думала только о том, как бы работу к сроку кончить, никогда ни с кем не говорила и трепетала при одном имени барыни, хотя та её почти в глаза не знала. Когда Герасима привезли из деревни, она чуть не обмерла от ужаса при виде его громадной

фигуры, всячески старалась не встречаться с ним, даже жмурилась, бывало, когда ей случалось пробегать мимо него, спеша из дома в прачечную. Герасим сперва не обращал на неё особенного внимания, потом стал посмеиваться, когда она ему попадалась, потом и заглядываться на неё начал, наконец, и вовсе глаз с неё не спускал. Полюбилась она ему; кротким ли выражением лица, робостью ли движений — бог его знает! Вот однажды пробиралась она по двору, осторожно поднимая на растопыренных пальцах накрахмаленную барынину кофту… кто-то вдруг сильно схватил её за локоть; она обернулась и так и вскрикнула: за ней стоял Герасим. Глупо смеясь и ласково мыча, протягивал он ей пряничного петушка с сусальным золотом[43] на хвосте и крыльях. Она было хотела отказаться, но он насильно впихнул его ей прямо в руку, покачал головой, пошёл прочь и, обернувшись, ещё раз промычал ей что-то очень дружелюбное. С того дня он уж ей не давал покоя: куда, бывало, она ни пойдёт, он уж тут как тут, идёт ей навстречу, улыбается, мычит, махает руками, ленту вдруг вытащит из-за пазухи и всучит ей, метлой перед

[43] Примечания: 43

Суса́льное зо́лото — очень тонкая (сотые доли миллиметра) золотая фольга.

ней пыль расчистит. Бедная девка просто не знала, как ей быть и что делать. Скоро весь дом узнал о проделках немого дворника; насмешки, прибауточки, колкие словечки посыпались на Татьяну. Над Герасимом, однако, глумиться не все решались: он шуток не любил; да и её при нём оставляли в покое. Рада не рада, а попала девка под его покровительство. Как все глухонемые, он очень был догадлив и очень хорошо понимал, когда над ним или над ней смеялись. Однажды за обедом кастелянша[44], начальница Татьяны, принялась её, как говорится, шпынять и до того её довела, что та, бедная, не знала, куда глаза деть, и чуть не плакала с досады. Герасим вдруг приподнялся, протянул свою огромную ручищу, наложил её на голову кастелянши и с такой угрюмой свирепостью посмотрел ей в лицо, что та так и пригнулась к столу. Все умолкли. Герасим снова взялся за ложку и продолжал хлебать щи. «Вишь, глухой чёрт, леший!» — пробормотали все вполголоса, а кастелянша встала да ушла в девичью. А то в другой раз, заметив, что Капитон, тот самый Капитон, о котором сейчас шла речь, как-то слишком любезно раскалякался с Татья-

[44] Примечания: 44
Кастеля́нша — прислуга, заведующая бельём.

ной, Герасим подозвал его к себе пальцем, отвёл в каретный сарай да, ухватив за конец стоявшее в углу дышло[45], слегка, но многозначительно погрозил ему им. С тех пор уж никто не заговаривал с Татьяной. И всё это ему сходило с рук. Правда, кастелянша, как только прибежала в девичью, тотчас упала в обморок и вообще так искусно действовала, что в тот же день довела до сведения барыни грубый поступок Герасима; но причудливая старуха только рассмеялась несколько раз, к крайнему оскорблению кастелянши, заставила её повторить, как, дескать, он принагнул тебя своей тяжёлой ручкой, и на другой день выслала Герасиму целковый[46]. Она его жаловала как верного и сильного сторожа. Герасим порядком её побаивался, но всё-таки надеялся на её милость и собирался уже отправиться к ней с просьбой, не позволит ли она ему жениться на Татьяне. Он только ждал нового кафтана, обещанного ему дворецким, чтоб в приличном виде явиться перед барыней, как вдруг этой самой барыне пришла в голову мысль выдать Татьяну за Капитона.

---

[45] Примечания: 45

Ды́шло — толстая оглобля, которую прикрепляли к середине передней оси повозки для управления поворотом.

[46] Примечания: 46

Целко́вый — старинная монета достоинством в один рубль.

Читатель теперь легко сам поймёт причину смущения, овладевшего дворецким Гаврилой после разговора с госпожой. «Госпожа, — думал он, посиживая у окна, — конечно, жалует Герасима (Гавриле хорошо это было известно, и оттого он сам ему потакал), всё же он существо бессловесное; не доложить же госпоже, что вот Герасим, мол, за Татьяной ухаживает. Да и наконец, оно и справедливо, какой он муж? А с другой стороны, стоит этому, прости господи, лешему узнать, что Татьяну выдают за Капитона, ведь он всё в доме переломает, ей-ей. Ведь с ним не столкуешь; ведь его, чёрта этакого, согрешил я, грешный, никаким способом не уломаешь… право!..»

Появление Капитона прервало нить Гаврилиных размышлений. Легкомысленный башмачник вошёл, закинул руки назад и, развязно прислонясь к выдающемуся углу стены подле двери, поставил правую ножку крестообразно перед левой и встряхнул головой. «Вот, мол, я. Чего вам потребно?»

Гаврила посмотрел на Капитона и застучал пальцами по косяку окна. Капитон только прищурил немного свои оловянные глазки, но не опустил их, даже усмехнулся слегка и провёл рукой по своим белесоватым волосам, которые

так и ерошились во все стороны. Ну да, я, мол, я. Чего глядишь?

— Хорош, — проговорил Гаврила и помолчал. — Хорош, нечего сказать!

Капитон только плечиками передёрнул. «А ты небось лучше?» — подумал он про себя.

— Ну, посмотри на себя, ну, посмотри, — продолжал с укоризной Гаврила, — ну, на кого ты похож?

Капитон окинул спокойным взором свой истасканный и оборванный сюртук, свои заплатанные панталоны, с особенным вниманием осмотрел он свои дырявые сапоги, особенно тот, о носок которого так щеголевато опиралась его правая ножка, и снова уставился на дворецкого.

— А что-с?

— Что-с? — повторил Гаврила. — Что-с? Ещё ты говоришь: что-с? На чёрта ты похож, согрешил я, грешный, вот на кого ты похож.

Капитон проворно замигал глазками.

«Ругайтесь, мол, ругайтесь, Гаврила Андреич», — подумал он опять про себя.

— Ведь вот ты опять пьян был, — начал Гаврила. — Ведь опять? А? Ну, отвечай же.

— По слабости здоровья спиртным напиткам подвергался действительно, — возразил Капи-

тон.

— По слабости здоровья!.. Мало тебя наказывают — вот что; а в Питере ещё был в ученье… Многому ты выучился в ученье! Только хлеб даром ешь.

— В этом случае, Гаврила Андреич, один мне судья сам господь бог — и больше никого. Тот один знает, каков я человек на сём свете суть и точно ли даром хлеб ем. А что касается в соображении до пьянства, то и в этом случае виноват не я, а более один товарищ; сам же меня он сманул, да и сполитиковал, ушёл то есть, а я…

— А ты остался, гусь, на улице. Ах ты, забубённый человек! Ну да дело не в том, — продолжал дворецкий, — а вот что. Барыне… — тут он помолчал, — барыне угодно, чтоб ты женился. Слышишь? Оне полагают, что ты остепенишься, женившись. Понимаешь?

— Как не понимать-с.

— Ну, да. По-моему, лучше бы тебя хорошенько в руки взять. Ну, да это уж их дело. Что ж, ты согласен?

Капитон осклабился.

— Женитьба — дело хорошее для человека, Гаврила Андреич; и я, со своей стороны, с очень моим приятным удовольствием.

— Ну, да, — возразил Гаврила и подумал про себя: «Нечего сказать, аккуратно говорит человек». — Только вот что, — продолжал он вслух, — невесту-то тебе приискали неладную.

— А какую, позвольте полюбопытствовать?..

— Татьяну.

— Татьяну?

И Капитон вытаращил глаза и отделился от стены.

— Ну, чего ж ты всполохнулся?.. Разве она тебе не по нраву?

— Какое не по нраву, Гаврила Андреич! Девка она ничего, работница, смирная девка… Да ведь вы сами знаете, Гаврила Андреич, ведь тот-то леший, кикимора-то степная, ведь он за ней…

— Знаю, брат, всё знаю, — с досадой прервал его дворецкий, — да ведь…

— Да помилуйте, Гаврила Андреич, ведь он меня убьёт, ей-богу убьёт, как муху какую-нибудь прихлопнет; ведь у него рука, ведь вы изволите сами посмотреть, что у него за рука; ведь у него просто Минина и Пожарского рука. Ведь он глухой, бьёт и не слышит, как бьёт! Словно во сне кулачищами махает. И унять его нет никакой возможности; почему? потому, вы сами знаете, Гаврила Андреич, он глух и вдобавку глуп, как

пятка. Ведь это какой-то зверь, идол, Гаврила Андреич, — хуже идола… осина какая-то; за что же я теперь от него страдать должен? Конечно, мне уже теперь всё нипочём: обдержался, обтерпелся человек, обмаслился, как коломенский горшок, — всё же я, однако, человек, а не какой-нибудь, в самом деле, ничтожный горшок.

— Знаю, знаю, не расписывай…

— Господи боже мой! — с жаром продолжал башмачник. — Когда же конец? Когда, господи! Горемыка я, горемыка неисходная! Судьба-то, судьба-то моя, подумаешь! В младых летах был я бит через немца-хозяина, в лучший сустав жизни моей бит от своего же брата, наконец в зрелые годы вот до чего дослужился…

— Эх ты, мочальная душа, — проговорил Гаврила. — Чего распространяешься, право!

— Как чего, Гаврила Андреич! Не побоев я боюсь, Гаврила Андреич. Накажи меня господин в стенах да подай мне при людях приветствие, и всё я в числе человеков, а тут ведь от кого приходится…

— Ну, пошёл вон, — нетерпеливо перебил его Гаврила.

Капитон отвернулся и поплёлся вон.

— А положим, его бы не было, — крикнул ему

вслед дворецкий, — ты-то сам согласен?

— Изъявляю, — возразил Капитон и удалился.

Красноречие не покидало его даже в крайних случаях.

Дворецкий несколько раз прошёлся по комнате.

— Ну, позовите теперь Татьяну, — промолвил он наконец.

Через несколько мгновений Татьяна вошла чуть слышно и остановилась у порога.

— Что прикажете, Гаврила Андреич? — проговорила она тихим голосом.

Дворецкий пристально посмотрел на неё.

— Ну, — промолвил он, — Танюша, хочешь замуж идти? Барыня тебе жениха сыскала.

— Слушаю, Гаврила Андреич. А кого они мне в женихи назначают? — прибавила она с нерешительностью.

— Капитона, башмачника.

— Слушаю-с.

— Он легкомысленный человек — это точно. Но госпожа в этом случае на тебя надеется.

— Слушаю-с.

— Одна беда… ведь этот глухарь-то, Гараська, он ведь за тобой ухаживает. И чем ты этого медведя к себе приворожила? А ведь он убьёт тебя,

пожалуй, медведь этакой…

— Убьёт, Гаврила Андреич, беспременно убьёт.

— Убьёт… Ну, это мы увидим. Как это ты говоришь: убьёт! Разве он имеет право тебя убивать, посуди сама.

— А не знаю, Гаврила Андреич, имеет ли, нет ли.

— Экая! Ведь ты ему этак ничего не обещала…

— Чего изволите-с?

Дворецкий помолчал и подумал:

«Безответная ты душа!»

— Ну, хорошо, — прибавил он, — мы ещё поговорим с тобой, а теперь ступай, Танюша; я вижу, ты точно смиренница.

Татьяна повернулась, опёрлась легонько о притолоку и ушла.

«А может быть, барыня-то завтра и забудет об этой свадьбе, — подумал дворецкий, — я-то из чего растревожился? Озорника-то мы этого скрутим; коли что — в полицию знать дадим…»

— Устинья Фёдоровна! — крикнул он громким голосом своей жене. — Поставьте-ка самоварчик, моя почтенная…

Татьяна почти весь тот день не выходила из прачечной. Сперва она всплакнула, потом утёрла слёзы и принялась по-прежнему за работу. Капи-

тон до самой поздней ночи просидел в заведении с каким-то приятелем мрачного вида и подробно ему рассказал, как он в Питере проживал у одного барина, который всем бы взял, да за порядками был наблюдателен и притом одной ошибкой маленечко произволялся: хмелем гораздо забирал, а что до женского пола, просто во все качества доходил… Мрачный товарищ только поддакивал; но когда Капитон объявил наконец, что он, по одному случаю, должен завтра же руку на себя наложить, мрачный товарищ заметил, что пора спать. И они разошлись грубо и молча.

Между тем ожидания дворецкого не сбылись. Барыню так заняла мысль о Капитоновой свадьбе, что она даже ночью только об этом разговаривала с одной из своих компаньонок, которая держалась у ней в доме единственно на случай бессонницы и, как ночной извозчик, спала днём. Когда Гаврила вошёл к ней после чаю с докладом, первым её вопросом было: а что наша свадьба, идёт? Он, разумеется, отвечал, что идёт как нельзя лучше и что Капитон сегодня же к ней явится с поклоном. Барыне что-то нездоровилось; она недолго занималась делами. Дворецкий возвратился к себе в комнату и созвал совет. Дело точно требовало особенного обсуждения. Татьяна не

прекословила, конечно; но Капитон объявлял во всеуслышание, что у него одна голова, а не две и не три… Герасим сурово и быстро на всех поглядывал, не отходил от девичьего крыльца и, казалось, догадывался, что затевается что-то для него недоброе. Собравшиеся (в числе их присутствовал старый буфетчик по прозвищу дядя Хвост, к которому все с почтеньем обращались за советом, хотя только и слышали от него, что: вот оно как, да: да, да, да) начали с того, что на всякий случай, для безопасности, заперли Капитона в чуланчик с водоочистительной машиной и принялись думать крепкую думу. Конечно, легко было прибегнуть к силе; но боже сохрани! выйдет шум, барыня обеспокоится — беда! Как быть? Думали, думали и выдумали наконец. Неоднократно было замечено, что Герасим терпеть не мог пьяниц… Сидя за воротами, он всякий раз, бывало, с негодованием отворачивался, когда мимо его неверными шагами и с козырьком фуражки на ухе проходил какой-нибудь нагрузившийся человек. Решили научить Татьяну, чтобы она притворилась хмельной и прошла бы, пошатываясь и покачиваясь, мимо Герасима. Бедная девка долго не соглашалась, но её уговорили; притом она сама видела, что иначе она не отде-

лается от своего обожателя. Она пошла. Капитона выпустили из чуланчика: дело всё-таки до него касалось. Герасим сидел на тумбочке у ворот и тыкал лопатой в землю… Из-за всех углов, из-под штор за окнами глядели на него…

Хитрость удалась как нельзя лучше. Увидев Татьяну, он сперва, по обыкновению, с ласковым мычаньем закивал головой; потом вгляделся, уронил лопату, вскочил, подошёл к ней, придвинул своё лицо к самому её лицу… Она от страха ещё более зашаталась и закрыла глаза… Он схватил её за руку, помчал через весь двор и, войдя с нею в комнату, где заседал совет, толкнул её прямо к Капитону. Татьяна так и обмерла… Герасим постоял, поглядел на неё, махнул рукой, усмехнулся и пошёл, тяжело ступая, в свою каморку… Целые сутки не выходил он оттуда. Форейтор[47] Антипка сказывал потом, что он сквозь щёлку видел, как Герасим, сидя на кровати, приложив к щеке руку, тихо, мерно и только изредка мыча — пел, то есть покачивался, закрывал глаза и встряхивал головой, как ямщики или бурлаки, когда они затягивают свои заунывные песни. Антипке стало жутко, и он отошёл от щели. Когда

[47] Примечания: 47

Форе́йтор — возничий, сидящий на одной из передних лошадей в упряжке.

же на другой день Герасим вышел из каморки, в нём особенной перемены нельзя было заметить. Он только стал как будто поугрюмее, а на Татьяну и на Капитона не обращал ни малейшего внимания. В тот же вечер они оба с гусями под мышкой отправились к барыне и через неделю женились. В самый день свадьбы Герасим не изменил своего поведения ни в чём; только с реки он приехал без воды: он как-то на дороге разбил бочку; а на ночь в конюшне он так усердно чистил и тёр свою лошадь, что та шаталась, как былинка на ветру, и переваливалась с ноги на ногу под его железными кулаками.

Всё это происходило весною. Прошёл ещё год, в течение которого Капитон окончательно спился с кругу и, как человек, решительно никуда не годный, был отправлен с обозом в дальнюю деревню вместе со своею женой. В день отъезда он сперва очень храбрился и уверял, что, куда его ни пошли, хоть туда, где бабы рубахи моют да вальки[48] на небо кладут, он всё не пропадёт; но потом упал духом, стал жаловаться, что его везут к необразованным людям, и так ослабел

[48] Примечания: 48

Валёк — плоский деревянный брусок с рукояткой, выгнутый и ребристый с одной стороны, который использовали при стирке и полоскании белья.

наконец, что даже собственную шапку на себя надеть не мог; какая-то сострадательная душа надвинула её ему на лоб, поправила козырёк и сверху её прихлопнула. Когда же всё было готово и мужики уже держали вожжи в руках и ждали только слова: «С богом!», Герасим вышел из своей каморки, приблизился к Татьяне и подарил ей на память красный бумажный[49] платок, купленный им для неё же с год тому назад. Татьяна, с великим равнодушием переносившая до того мгновения все превратности своей жизни, тут, однако, не вытерпела, прослезилась и, садясь в телегу, по-христиански три раза поцеловалась с Герасимом. Он хотел проводить её до заставы и пошёл сперва рядом с её телегой, но вдруг остановился на Крымском Броду, махнул рукой и отправился вдоль реки.

Дело было к вечеру. Он шёл тихо и глядел на воду. Вдруг ему показалось, что что-то барахтается в тине у самого берега. Он нагнулся и увидел небольшого щенка, белого с чёрными пятнами, который, несмотря на все свои старания, никак не мог вылезть из воды, бился, скользил и дрожал всем своим мокреньким и худеньким телом.

---

[49] Примечания: 49

Бума́жный — здесь: из хлопчатобумажной ткани.

Герасим поглядел на несчастную собачонку, подхватил её одной рукой, сунул её к себе в пазуху и пустился большими шагами домой. Он пошёл в свою каморку, уложил спасённого щенка на кровати, прикрыл его своим тяжёлым армяком[50], сбегал сперва в конюшню за соломой, потом в кухню за чашечкой молока. Осторожно откинув армяк и разостлав солому, поставил он молоко на кровать. Бедной собачонке было всего недели три, глаза у ней прорезались недавно; один глаз даже казался немножко больше другого; она ещё не умела пить из чашки и только дрожала и щурилась. Герасим взял её легонько двумя пальцами за голову и принагнул её мордочку к молоку. Собачка вдруг начала пить с жадностью, фыркая, трясясь и захлёбываясь. Герасим глядел, глядел да как засмеётся вдруг… Всю ночь он возился с ней, укладывал её, обтирал и заснул наконец сам возле неё каким-то радостным и тихим сном.

Ни одна мать так не ухаживает за своим ребёнком, как ухаживал Герасим за своей питомицей. (Собака оказалась сучкой.) Первое время она была очень слаба, тщедушна и собой некрасива, но понемногу справилась и выровнялась, а месяцев

---

[50] Примечания: 50

Армя́к — верхняя мужская крестьянская одежда из грубой ткани, обычно из толстого сукна, завязывался на пояс.

через восемь, благодаря неусыпным попечениям своего спасителя, превратилась в очень ладную собачку испанской породы, с длинными ушами, пушистым хвостом в виде трубы, с большими выразительными глазами. Она страстно привязалась к Герасиму и не отставала от него ни на шаг, всё ходила за ним, повиливая хвостиком. Он и кличку ей дал — немые знают, что мычанье их обращает на себя внимание других, — он назвал её Муму. Все люди в доме её полюбили и тоже кликали Мумуней. Она была чрезвычайно умна, ко всем ласкалась, но любила одного Герасима. Герасим сам её любил без памяти… и ему было неприятно, когда другие её гладили: боялся он, что ли, за неё, ревновал ли он к ней — бог весть! Она его будила по утрам, дёргая его за полу, приводила к нему за повод старую водовозку, с которой жила в большой дружбе, с важностью на лице отправлялась вместе с ним на реку, караулила его мётлы и лопаты, никого не подпускала к его каморке. Он нарочно для неё прорезал отверстие в своей двери, и она как будто чувствовала, что только в Герасимовой каморке она была полная хозяйка, и потому, войдя в неё, тотчас с довольным видом вскакивала на кровать. Ночью она не спала вовсе, но не лаяла

без разбору, как иная глупая дворняжка, которая, сидя на задних лапах и подняв морду и зажмурив глаза, лает просто от скуки, так, на звёзды, и обыкновенно три раза сряду, — нет! тонкий голосок Муму никогда не раздавался даром: либо чужой близко подходил к забору, либо где-нибудь поднимался подозрительный шум или шорох… Словом, она сторожила отлично. Правда, был ещё, кроме её, на дворе старый пёс жёлтого цвета, с бурыми крапинами, по имени Волчок, но того никогда, даже ночью, не спускали с цепи, да и он сам, по дряхлости своей, вовсе не требовал свободы — лежал себе, свернувшись, в своей конуре и лишь изредка издавал сиплый, почти беззвучный лай, который тотчас же прекращал, как бы сам чувствуя всю его бесполезность. В господский дом Муму не ходила и, когда Герасим носил в комнаты дрова, всегда оставалась назади и нетерпеливо его выжидала у крыльца, навострив уши и поворачивая голову то направо, то вдруг налево, при малейшем стуке за дверями…

Так прошёл ещё год. Герасим продолжал свои дворнические занятия и очень был доволен своей судьбой, как вдруг произошло одно неожиданное обстоятельство… а именно: в один прекрасный

летний день барыня со своими приживалками[51] расхаживала по гостиной.

Она была в духе, смеялась и шутила; приживалки смеялись и шутили тоже, но особенной радости они не чувствовали: в доме не очень-то любили, когда на барыню находил весёлый час, потому что, во-первых, она тогда требовала от всех немедленного и полного сочувствия и сердилась, если у кого-нибудь лицо не сияло удовольствием, а во-вторых, эти вспышки у ней продолжались недолго и обыкновенно заменялись мрачным и кислым расположением духа. В тот день она как-то счастливо встала; на картах ей вышло четыре валета: исполнение желаний (она всегда гадала по утрам), — и чай ей показался особенно вкусным, за что горничная получила на словах похвалу и деньгами гривенник. Со сладкой улыбкой на сморщенных губах гуляла барыня по гостиной и подошла к окну. Перед окном был разбит палисадник, и на самой средней клумбе, под розовым кусточком, лежала Муму и тщательно грызла кость. Барыня увидала её.

— Боже мой! — воскликнула она вдруг. — Что

---

[51] Примечания: 51

Приживáлка — обнищавшая женщина, которая по милости хозяев проживала в барском доме и составляла общество хозяйке, развлекая и помогая ей.

это за собака?

Приживалка, к которой обратилась барыня, заметалась, бедненькая, с тем тоскливым беспокойством, которое обыкновенно овладевает подвластным человеком, когда он ещё не знает хорошенько, как ему понять восклицание начальника.

— Н… н…е знаю-с, — пробормотала она, — кажется, немого.

— Боже мой! — прервала барыня. — Да она премиленькая собачка! Велите её привести. Давно она у него? Как же я это её не видала до сих пор?.. Велите её привести.

Приживалка тотчас порхнула в переднюю.

— Человек, человек! — закричала она. — Приведите поскорей Муму! Она в палисаднике.

— А её Муму зовут, — промолвила барыня, — очень хорошее имя.

— Ах, очень-с! — возразила приживалка. — Скорей, Степан!

Степан, дюжий парень, состоявший в должности лакея, бросился сломя голову в палисадник и хотел было схватить Муму, но та ловко вывернулась из-под его пальцев и, подняв хвост, пустилась во все лопатки к Герасиму, который в то время у кухни выколачивал и вытряхивал

бочку, перевёртывая её в руках, как детский барабан. Степан побежал за ней вслед, начал ловить её у самых ног её хозяина; но проворная собачка не давалась чужому в руки, прыгала и увёртывалась. Герасим смотрел с усмешкой на всю эту возню; наконец Степан с досадой приподнялся и поспешно растолковал ему знаками, что барыня, мол, требует твою собаку к себе. Герасим немного изумился, однако подозвал Муму, поднял её с земли и передал Степану. Степан принёс её в гостиную и поставил на паркет. Барыня начала её ласковым голосом подзывать к себе. Муму, отроду ещё не бывавшая в таких великолепных покоях, очень испугалась и бросилась было к двери, но, оттолкнутая услужливым Степаном, задрожала и прижалась к стене.

— Муму, Муму, подойди же ко мне, подойди к барыне, — говорила госпожа. — Подойди, глупенькая… не бойся…

— Подойди, подойди, Муму, к барыне, — твердили приживалки, — подойди.

Но Муму тоскливо оглядывалась кругом и не трогалась с места.

— Принесите ей что-нибудь поесть, — сказала барыня. — Какая она глупая! К барыне не идёт. Чего боится?

— Оне не привыкли ещё, — произнесла робким и умильным голосом одна из приживалок.

Степан принёс блюдечко с молоком, поставил перед Муму, но Муму даже и не понюхала молока и всё дрожала и озиралась по-прежнему.

— Ах, какая же ты! — промолвила барыня, подходя к ней, нагнулась и хотела погладить её, но Муму судорожно повернула голову и оскалила зубы. Барыня проворно отдёрнула руку…

Произошло мгновенное молчание. Муму слабо визгнула, как бы жалуясь и извиняясь… Барыня отошла и нахмурилась. Внезапное движение собаки её испугало.

— Ах! — закричали разом все приживалки. — Не укусила ли она вас, сохрани бог! (Муму в жизнь свою никого никогда не укусила.) Ах, ах!

— Отнести её вон, — проговорила изменившимся голосом старуха. — Скверная собачонка! Какая она злая!

И, медленно повернувшись, направилась она в свой кабинет. Приживалки робко переглянулись и пошли было за ней, но она остановилась, холодно посмотрела на них, промолвила: «Зачем это? ведь я вас не зову» — и ушла.

Приживалки отчаянно замахали руками на Степана; тот подхватил Муму и выбросил её

поскорей за дверь, прямо к ногам Герасима, — а через полчаса в доме уже царствовала глубокая тишина, и старая барыня сидела на своём диване мрачнее грозовой тучи.

Какие безделицы, подумаешь, могут иногда расстроить человека!

До самого вечера барыня была не в духе, ни с кем не разговаривала, не играла в карты и ночь дурно провела. Вздумала, что одеколон ей подали не тот, который обыкновенно подавали, что подушка у ней пахнет мылом, и заставила кастеляншу всё бельё перенюхать — словом, волновалась и «горячилась» очень. На другое утро она велела позвать Гаврилу часом ранее обыкновенного.

— Скажи, пожалуйста, — начала она, как только тот, не без некоторого внутреннего лепетания, переступил порог её кабинета, — что это за собака у нас на дворе всю ночь лаяла? Мне спать не дала!

— Собака-с… какая-с… может быть, немого собака-с, — произнёс он не совсем твёрдым голосом.

— Не знаю, немого ли, другого ли кого, только спать мне не дала. Да я и удивляюсь, на что такая пропасть собак! Желаю знать. Ведь есть у нас дворная собака?

— Как же-с, есть-с. Волчок-с.

— Ну, чего ещё, на что нам ещё собака? Только одни беспорядки заводить. Старшего нет в доме — вот что. И на что немому собака? Кто ему позволил собак у меня на дворе держать? Вчера я подошла к окну, а она в палисаднике лежит, какую-то мерзость притащила, грызёт, а у меня там розы посажены…

Барыня помолчала.

— Чтоб её сегодня же здесь не было… слышишь?

— Слушаю-с.

— Сегодня же. А теперь ступай. К докладу я тебя потом позову.

Гаврила вышел.

Проходя через гостиную, дворецкий для порядка переставил колокольчик с одного стола на другой, втихомолочку высморкал в зале свой утиный нос и вышел в переднюю. В передней на конике[52] спал Степан, в положении убитого воина на батальной картине, судорожно вытянув обнажённые ноги из-под сюртука, служившего ему вместо одеяла. Дворецкий растолкал его и вполголоса сообщил ему какое-то приказание,

---

[52] Примечания: 52

Ко́ник — лавка в крестьянской избе возле двери или печи в виде длинного ящика с крышкой.

на которое Степан отвечал полузевком, полухохотом. Дворецкий удалился, а Степан вскочил, натянул на себя кафтан и сапоги, вышел и остановился у крыльца. Не прошло пяти минут, как появился Герасим с огромной вязанкой дров за спиной, в сопровождении неразлучной Муму. (Барыня свою спальню и кабинет приказывала протапливать даже летом.) Герасим стал боком перед дверью, толкнул её плечом и ввалился в дом со своей ношей. Муму, по обыкновению, осталась его дожидаться. Тогда Степан, улучив удобное мгновение, внезапно бросился на неё, как коршун на цыплёнка, придавил её грудью к земле, сгрёб в охапку и, не надев даже картуза, выбежал с нею на двор, сел на первого попавшегося извозчика и поскакал в Охотный ряд. Там он скоро отыскал покупщика, которому уступил её за полтинник, с тем только, чтобы он по крайней мере неделю продержал её на привязи, и тотчас вернулся; но, не доезжая до дому, слез с извозчика и, обойдя двор кругом, с заднего переулка, через забор перескочил на двор; в калитку-то он побоялся идти, как бы не встретить Герасима.

Впрочем, его беспокойство было напрасно: Герасима уже не было на дворе. Выйдя из дому, он тотчас хватился Муму; он ещё не помнил,

чтоб она когда-нибудь не дождалась его возвращения, стал повсюду бегать, искать её, кликать по-своему… бросился в свою каморку, на сеновал, выскочил на улицу — туда-сюда… Пропала! Он обратился к людям, с самыми отчаянными знаками спрашивал о ней, показывая на пол-аршина от земли, рисовал её руками… Иные точно не знали, куда девалась Муму, и только головами качали, другие знали и посмеивались ему в ответ, а дворецкий принял чрезвычайно важный вид и начал кричать на кучеров. Тогда Герасим побежал со двора долой.

Уже смеркалось, как он вернулся. По его истомлённому виду, по неверной походке, по запылённой одежде его можно было предполагать, что он успел обежать пол-Москвы. Он остановился против барских окон, окинул взором крыльцо, на котором столпилось человек семь дворовых, отвернулся и промычал ещё раз: «Муму!» — Муму не отозвалась. Он пошёл прочь. Все посмотрели ему вслед, но никто не улыбнулся, не сказал слова… а любопытный форейтор Антипка рассказывал на другое утро в кухне, что немой-де всю ночь охал.

Весь следующий день Герасим не показывался, так что вместо его за водой должен был съездить

кучер Потап, чем кучер Потап очень остался недоволен. Барыня спросила Гаврилу, исполнено ли её приказание. Гаврила отвечал, что исполнено. На другое утро Герасим вышел из своей каморки на работу. К обеду он пришёл, поел и ушёл опять, никому не поклонившись. Его лицо, и без того безжизненное, как у всех глухонемых, теперь словно окаменело. После обеда он опять уходил со двора, но ненадолго, вернулся и тотчас отправился на сеновал. Настала ночь, лунная, ясная. Тяжело вздыхая и беспрестанно поворачиваясь, лежал Герасим и вдруг почувствовал, как будто его дёргают за полу; он весь затрепетал, однако не поднял головы, даже зажмурился; но вот опять его дёрнули, сильнее прежнего; он вскочил… перед ним, с обрывком на шее, вертелась Муму. Протяжный крик радости вырвался из его безмолвной груди; он схватил Муму, стиснул её в своих объятиях; она в одно мгновенье облизала ему нос, глаза, усы и бороду… Он постоял, подумал, осторожно слез с сенника, оглянулся и, удостоверившись, что никто его не увидит, благополучно пробрался в свою каморку. Герасим уже прежде догадался, что собака пропала не сама собой, что её, должно быть, свели по приказанию барыни; люди-то ему объяснили знаками, как

его Муму на неё окрысилась, — и он решился принять свои меры. Сперва он накормил Муму хлебушком, обласкал её, уложил, потом начал соображать, да всю ночь напролёт и соображал, как бы получше её спрятать. Наконец он придумал весь день оставлять её в каморке и только изредка к ней наведываться, а ночью выводить. Отверстие в двери он плотно заткнул старым своим армяком и чуть свет был уже на дворе как ни в чём не бывало, сохраняя даже (невинная хитрость!) прежнюю унылость на лице. Бедному глухому в голову не могло прийти, что Муму себя визгом своим выдаст: действительно, все в доме скоро узнали, что собака немого воротилась и сидит у него взаперти, но из сожаления к нему и к ней, а отчасти, может быть, и из страху перед ним, не давали ему понять, что проведали его тайну. Дворецкий один почесал у себя в затылке, да махнул рукой. «Ну, мол, бог с ним! Авось до барыни не дойдёт!» Зато никогда немой так не усердствовал, как в тот день: вычистил и выскреб весь двор, выполол все травки до единой, собственноручно повыдергал все колышки в заборе палисадника, чтобы удостовериться, довольно ли они крепки, и сам же их потом вколотил — словом, возился и хлопотал так, что даже барыня обратила внима-

ние на его радение. В течение дня Герасим раза два украдкой ходил к своей затворнице; когда же наступила ночь, он лёг спать вместе с ней в каморке, а не на сеновале и только во втором часу вышел погулять с ней на чистом воздухе. Походив с ней довольно долго по двору, он уже было собирался вернуться, как вдруг за забором, со стороны переулка, раздался шорох. Муму навострила уши, зарычала, подошла к забору, понюхала и залилась громким и пронзительным лаем. Какой-то пьяный человек вздумал там угнездиться на ночь. В это самое время барыня только что засыпала после продолжительного «нервического волнения»: эти волнения у ней всегда случались после слишком сытного ужина. Внезапный лай её разбудил; сердце у ней забилось и замерло. «Девки, девки! — простонала она. — Девки!» Перепуганные девки вскочили к ней в спальню. «Ох, ох, умираю! — проговорила она, тоскливо разводя руками. — Опять, опять эта собака!.. Ох, пошлите за доктором. Они меня убить хотят… Собака, опять собака! Ох!» — и она закинула голову назад, что должно было означать обморок. Бросились за доктором, то есть за домашним лекарем Харитоном. Этот лекарь, которого всё искусство состояло в том, что он носил сапоги с мягкими по-

дошвами, умел деликатно браться за пульс, спал четырнадцать часов в сутки, а остальное время всё вздыхал да беспрестанно потчевал барыню лавровишневыми каплями, — этот лекарь тотчас прибежал, покурил жжёными перьями и, когда барыня открыла глаза, немедленно поднёс ей на серебряном подносике рюмку с заветными каплями. Барыня приняла их, но тотчас же слезливым голосом стала опять жаловаться на собаку, на Гаврилу, на свою участь, на то, что её, бедную старую женщину, все бросили, что никто о ней не сожалеет, что все хотят её смерти. Между тем несчастная Муму продолжала лаять, а Герасим напрасно старался отозвать её от забора. «Вот, вот… опять…» — пролепетала барыня и снова подкатила глаза под лоб. Лекарь шепнул девке, та бросилась в переднюю, растолкала Степана, тот побежал будить Гаврилу, Гаврила сгоряча велел поднять весь дом.

Герасим обернулся, увидал замелькавшие огни и тени в окнах и, почуяв сердцем беду, схватил Муму под мышку, вбежал в каморку и запер-ся. Через несколько мгновений пять человек ломились в его дверь, но, почувствовав сопротив-ление засова, остановились. Гаврила прибежал в страшных попыхах, приказал им всем оставаться

тут до утра и караулить, а сам потом ринулся в девичью и через старшую компаньонку Любовь Любимовну, с которой вместе крал и учитывал чай, сахар и прочую бакалею, велел доложить барыне, что собака, к несчастью, опять откуда-то прибежала, но что завтра же её в живых не будет и чтобы барыня сделала милость, не гневалась и успокоилась. Барыня, вероятно, не так-то бы скоро успокоилась, да лекарь второпях вместо двенадцати капель налил целых сорок: сила лавровишенья и подействовала — через четверть часа барыня уже почивала крепко и мирно; а Герасим лежал, весь бледный, на своей кровати и сильно сжимал пасть Муму.

На следующее утро барыня проснулась довольно поздно. Гаврила ожидал её пробуждения для того, чтобы дать приказ к решительному натиску на Герасимово убежище, а сам готовился выдержать сильную грозу. Но грозы не приключилось. Лёжа в постели, барыня велела позвать к себе старшую приживалку.

— Любовь Любимовна, — начала она тихим и слабым голосом; она иногда любила прикинуться загнанной и сиротливой страдалицей; нечего и говорить, что всем людям в доме становилось тогда очень неловко. — Любовь Любимовна, вы

видите, каково моё положение; подите, душа моя, к Гавриле Андреичу, поговорите с ним: неужели для него какая-нибудь собачонка дороже спокойствия, самой жизни его барыни? Я бы не желала этому верить, — прибавила она с выражением глубокого чувства, — подите, душа моя, будьте так добры, подите к Гавриле Андреичу.

Любовь Любимовна отправилась в Гаврилину комнату. Неизвестно, о чём происходил у них разговор; но спустя некоторое время целая толпа людей подвигалась через двор в направлении каморки Герасима: впереди выступал Гаврила, придерживая рукою картуз, хотя ветру не было; около него шли лакеи и повара, из окна глядел дядя Хвост и распоряжался, то есть только так руками разводил; позади всех прыгали и кривлялись мальчишки, из которых половина набежала чужих. На узкой лестнице, ведущей к каморке, сидел один караульщик; у двери стояли два других, с палками. Стали взбираться по лестнице, заняли её во всю длину. Гаврила подошёл к двери, стукнул в неё кулаком, крикнул:

— Отвори.

Послышался сдавленный лай, но ответа не было.

— Говорят, отвори! — повторил он.

— Да, Гаврила Андреич, — заметил снизу Степан, — ведь он глухой — не слышит.

Все рассмеялись.

— Как же быть? — возразил сверху Гаврила.

— А у него там дыра в двери, — отвечал Степан, — так вы палкой-то пошевелите.

Гаврила нагнулся.

— Он её армяком каким-то заткнул, дыру-то.

— А вы армяк пропихните внутрь.

Тут опять раздался глухой лай.

— Вишь, вишь, сама сказывается, — заметили в толпе и опять рассмеялись.

Гаврила почесал у себя за ухом.

— Нет, брат, — продолжал он наконец, — армяк-то ты пропихивай сам, коли хочешь.

— А что ж, извольте!

И Степан вскарабкался наверх, взял палку, просунул внутрь армяк и начал болтать в отверстии палкой, приговаривая: «Выходи, выходи!» Он ещё болтал палкой, как вдруг дверь каморки быстро распахнулась — вся челядь тотчас кубарем скатилась с лестницы, Гаврила прежде всех. Дядя Хвост запер окно.

— Ну, ну, ну, ну, — кричал Гаврила со двора, — смотри у меня, смотри!

Герасим неподвижно стоял на пороге. Толпа

собралась у подножия лестницы. Герасим глядел на всех этих людишек в немецких кафтанах сверху, слегка опёрши руки в бока; в своей красной крестьянской рубашке он казался каким-то великаном перед ними, Гаврила сделал шаг вперёд.

— Смотри, брат, — промолвил он, — у меня не озорничай.

И он начал ему объяснять знаками, что барыня, мол, непременно требует твоей собаки: подавай, мол, её сейчас, а то беда тебе будет.

Герасим посмотрел на него, указал на собаку, сделал знак рукою у своей шеи, как бы затягивая петлю, и с вопросительным лицом взглянул на дворецкого.

— Да, да, — возразил тот, кивая головой, — да, непременно.

Герасим опустил глаза, потом вдруг встряхнулся, опять указал на Муму, которая всё время стояла возле него, невинно помахивая хвостом и с любопытством поводя ушами, повторил знак удушения над своей шеей и значительно ударил себя в грудь, как бы объявляя, что он сам берёт на себя уничтожить Муму.

— Да ты обманешь, — замахал ему в ответ Гаврила.

Герасим поглядел на него, презрительно усмех-

нулся, опять ударил себя в грудь и захлопнул дверь.

Все молча переглянулись.

— Что ж это такое значит? — начал Гаврила. — Он заперся?

— Оставьте его, Гаврила Андреич, — промолвил Степан, — он сделает, коли обещал. Уж он такой… Уж коли он обещает, это наверное. Он на это не то что наш брат. Что правда, то правда. Да.

— Да, — повторили все и тряхнули головами. — Это так. Да.

Дядя Хвост отворил окно и тоже сказал: «Да».

— Ну, пожалуй, посмотрим, — возразил Гаврила, — а караул всё-таки не снимать. Эй ты, Ерошка! — прибавил он, обращаясь к какому-то бледному человеку в жёлтом нанковом[53] казакине[54], который считался садовником, — что тебе делать? Возьми палку да сиди тут, и чуть что, тотчас ко мне беги!

Ерошка взял палку и сел на последнюю ступеньку лестницы. Толпа разошлась, исключая

---

[53] Примечания: 53

На́нка — грубая хлопчатобумажная материя. Название происходит от китайского города Нанки́н, где она раньше производилась.

[54] Примечания: 54

Казаки́н — короткий мужской кафтан на крючках со стоячим воротником и со сборками сзади.

немногих любопытных и мальчишек, а Гаврила вернулся домой и через Любовь Любимовну велел доложить барыне, что всё исполнено, а сам на всякий случай послал форейтора к хожалому[55]. Барыня завязала в носовом платке узелок, налила на него одеколону, понюхала, потёрла себе виски, накушалась чаю и, будучи ещё под влиянием лавровишневых капель, заснула опять.

Спустя час после всей этой тревоги дверь каморки растворилась и показался Герасим. На нём был праздничный кафтан; он вёл Муму на верёвочке. Ерошка посторонился и дал ему пройти. Герасим направился к воротам. Мальчишки и все бывшие на дворе проводили его глазами молча. Он даже не обернулся; шапку надел только на улице. Гаврила послал вслед за ним того же Ерошку в качестве наблюдателя. Ерошка увидал издали, что он вошёл в трактир, вместе с собакой, и стал дожидаться его выхода.

В трактире знали Герасима и понимали его знаки. Он спросил себе щей с мясом и сел, опёршись руками на стол. Муму стояла подле его стула, спокойно поглядывая на него своими умными глазками. Шерсть на ней так и лоснилась: видно

---

[55] Примечания: 55

Хожа́лый — рассыльный при полиции для разных поручений.

было, что её недавно вычесали. Принесли Герасиму щей. Он накрошил туда хлеба, мелко изрубил мясо и поставил тарелку на пол. Муму принялась есть с обычной своей вежливостью, едва прикасаясь мордочкой до кушанья. Герасим долго глядел на неё; две тяжёлые слёзы выкатились вдруг из его глаз: одна упала на крутой лобик собачки, другая — во щи. Он заслонил лицо своё рукой. Муму съела полтарелки и отошла, облизываясь. Герасим встал, заплатил за щи и вышел вон, сопровождаемый несколько недоумевающим взглядом полового[56]. Ерошка, увидав Герасима, заскочил за угол и, пропустив его мимо, опять отправился вслед за ним.

Герасим шёл не торопясь и не спускал Муму с верёвочки. Дойдя до угла улицы, он остановился, как бы в раздумье, и вдруг быстрыми шагами отправился прямо к Крымскому Броду. На дороге он зашёл на двор дома, к которому пристроивался флигель, и вынес оттуда два кирпича под мышкой. От Крымского Брода он повернул по берегу, дошёл до одного места, где стояли две лодочки с вёслами, привязанными к колышкам (он уже заметил их прежде), и вскочил в одну из них вместе

---

[56] Примечания: 56
Половóй — слуга в трактире.

с Муму. Хромой старичишка вышел из-за шалаша, поставленного в углу огорода, и закричал на него. Но Герасим только закивал головой и так сильно принялся грести, хотя и против теченья реки, что в одно мгновенье умчался саженей на сто. Старик постоял, постоял, почесал себе спину сперва левой, потом правой рукой и вернулся, хромая, в шалаш.

А Герасим всё грёб да грёб. Вот уже Москва осталась назади. Вот уже потянулись по берегам луга, огороды, поля, рощи, показались избы. Повеяло деревней. Он бросил весла, приник головой к Муму, которая сидела перед ним на сухой перекладинке — дно было залито водой, — и остался неподвижным, скрестив могучие руки у ней на спине, между тем как лодку волной помаленьку относило назад к городу. Наконец Герасим выпрямился, поспешно, с каким-то болезненным озлоблением на лице, окутал верёвкой взятые им кирпичи, приделал петлю, надел её на шею Муму, поднял её над рекой, в последний раз посмотрел на неё… Она доверчиво и без страха поглядывала на него и слегка махала хвостиком. Он отвернулся, зажмурился и разжал руки… Герасим ничего не слыхал, ни быстрого визга падающей Муму, ни тяжкого всплеска воды; для него самый шумный

день был безмолвен и беззвучен, как ни одна самая тихая ночь не беззвучна для нас, и когда он снова раскрыл глаза, по-прежнему спешили по реке, как бы гоняясь друг за дружкой, маленькие волны, по-прежнему поплёскивали они о бока лодки, и только далеко назади к берегу разбегались какие-то широкие круги.

Ерошка, как только Герасим скрылся у него из виду, вернулся домой и донёс всё, что видел.

— Ну, да, — заметил Степан, — он её утопит. Уж можно быть спокойным. Коли он что обещал…

В течение дня никто не видел Герасима. Он дома не обедал. Настал вечер; собрались к ужину все, кроме его.

— Экой чудной этот Герасим! — пропищала толстая прачка. — Можно ли эдак из-за собаки проклажаться!.. Право!

— Да Герасим был здесь, — воскликнул вдруг Степан, загребая себе ложкой каши.

— Как? когда?

— Да вот часа два тому назад. Как же. Я с ним в воротах повстречался; он уж опять отсюда шёл, со двора выходил. Я было хотел спросить его насчёт собаки-то, да он, видно, не в духе был. Ну, и толкнул меня; должно быть, он так только отсторонить меня хотел: дескать, не приставай, — да

такого необыкновенного леща мне в становую жилу поднёс, важно так, что ой-ой-ой! — И Степан с невольной усмешкой пожался и потёр себе затылок. — Да, — прибавил он, — рука у него, благодатная рука, нечего сказать.

Все посмеялись над Степаном и после ужина разошлись спать.

А между тем в ту самую пору по Т… у шоссе усердно и безостановочно шагал какой-то великан, с мешком за плечами и с длинной палкой в руках. Это был Герасим. Он спешил без оглядки, спешил домой, к себе в деревню, на родину. Утопив бедную Муму, он прибежал в свою каморку, проворно уложил кой-какие пожитки в старую попону, связал её узлом, взвалил на плечо, да и был таков. Дорогу он хорошо заметил ещё тогда, когда его везли в Москву; деревня, из которой барыня его взяла, лежала всего в двадцати пяти верстах от шоссе. Он шёл по нём с какой-то несокрушимой отвагой, с отчаянной и вместе радостной решимостью. Он шёл; широко распахнулась его грудь; глаза жадно и прямо устремились вперёд. Он торопился, как будто мать-старушка ждала его на родине, как будто она звала его к себе после долгого странствования на чужой стороне, в чужих людях… Только что

наступившая летняя ночь была тиха и тепла; с одной стороны, там, где солнце закатилось, край неба ещё белел и слабо румянился последним отблеском исчезавшего дня, — с другой стороны уже вздымался синий, седой сумрак. Ночь шла оттуда. Перепела сотнями гремели кругом, взапуски перекликивались коростели… Герасим не мог их слышать, не мог он слышать также чуткого ночного шушуканья деревьев, мимо которых его проносили сильные его ноги, но он чувствовал знакомый запах поспевающей ржи, которым так и веяло с тёмных полей, чувствовал, как ветер, летевший к нему навстречу — ветер с родины, — ласково ударял в его лицо, играл в его волосах и бороде; видел перед собой белеющую дорогу — дорогу домой, прямую как стрела; видел в небе несчётные звёзды, светившие его пути, и, как лев, выступал сильно и бодро, так что, когда восходящее солнце озарило своими влажно-красными лучами только что расходившегося молодца, между Москвой и им легло уже тридцать пять вёрст…

Через два дня он уже был дома, в своей избёнке, к великому изумлению солдатки, которую туда поселили. Помолясь перед образами, тотчас же отправился он к старосте. Староста сначала было

удивился; но сенокос только что начинался; Герасиму, как отличному работнику, тут же дали косу в руки — и пошёл косить он по-старинному, косить так, что мужиков только пробирало, глядя на его размахи да загрёбы…

А в Москве, на другой день после побега Герасима, хватились его. Пошли в его каморку, обшарили её, сказали Гавриле. Тот пришёл, посмотрел, пожал плечами и решил, что немой либо бежал, либо утоп вместе со своей глупой собакой. Дали знать полиции, доложили барыне. Барыня разгневалась, расплакалась, велела отыскать его во что бы то ни стало, уверяла, что она никогда не приказывала уничтожать собаку, и, наконец, такой дала нагоняй Гавриле, что тот целый день только потряхивал головой да приговаривал: «Ну!» — пока дядя Хвост его не урезонил, сказав ему: «Ну-у!» Наконец пришло известие из деревни о прибытии туда Герасима. Барыня несколько успокоилась; сперва было отдала приказание немедленно вытребовать его назад в Москву, потом, однако, объявила, что такой неблагодарный человек ей вовсе не нужен. Впрочем, она скоро сама после того умерла; а наследникам её было не до Герасима: они и остальных-то матушкиных людей распустили по оброку.

И живёт до сих пор Герасим бобылём[57] в своей одинокой избе; здоров и могуч по-прежнему, и работает за четырёх по-прежнему, и по-прежнему важен и степенен. Но соседи заметили, что со времени своего возвращения из Москвы он совсем перестал водиться с женщинами, даже не глядит на них, и ни одной собаки у себя не держит. «Впрочем, — толкуют мужики, — его же счастье, что ему не надобеть бабья; а собака — на что ему собака? К нему на двор вора оселом[58] не затащишь!» Такова ходит молва о богатырской силе немого.

---

[57] Примечания: 57
Бобы́ль — одинокий бессемейный человек.

[58] Примечания: 58
Осел — здесь: то же, что аркан.

Иллюстрации



Из числа всей её челяди самым замечательным лицом
был дворник Герасим, мужчина двенадцати вершков роста,
сложённый богатырём и глухонемой от рожденья.



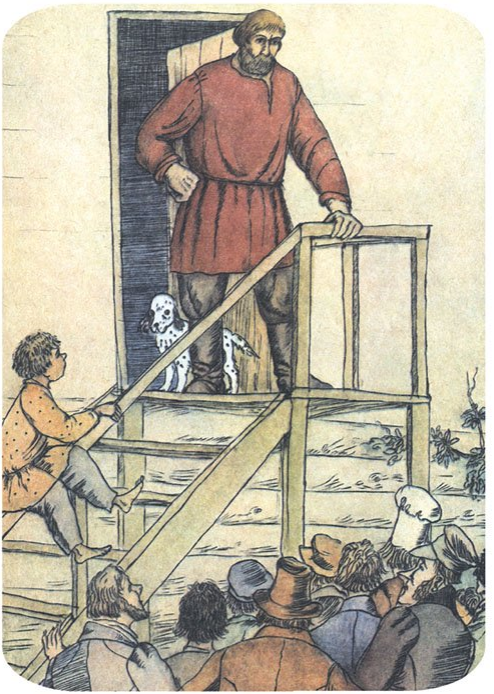
Она его будила по утрам, дёргая его за полу,
приводила к нему за повод старую водовозку,
с которой жила в большой дружбе…



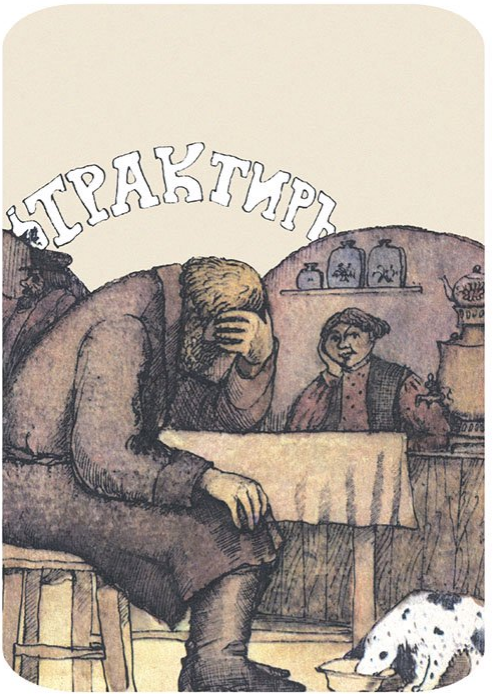
Степан принёс блюдечко с молоком, поставил перед Муму,
но Муму даже и не понюхала молока и всё дрожала
и озиралась по-прежнему.



Протяжный крик радости вырвался из его безмолвной груди;
он схватил Муму, стиснул её в своих объятиях…



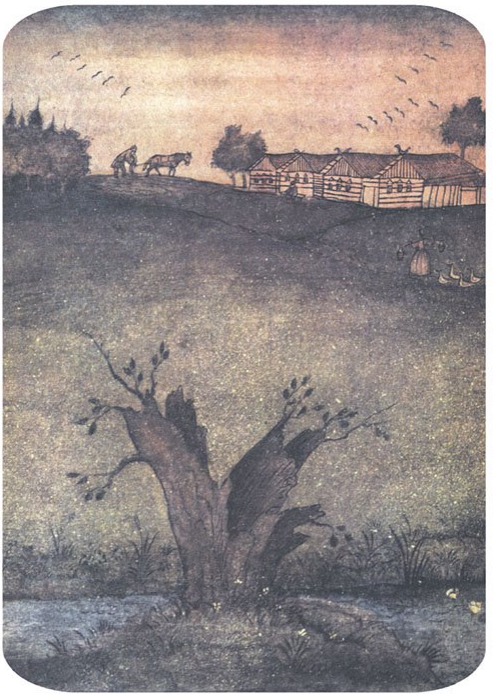
Герасим глядел на всех этих людишек в немецких кафтанах сверху… в своей красной крестьянской рубашке он казался каким-то великаном перед ними…



Герасим долго глядел на неё; две тяжёлые слезы выкатились вдруг из его глаз… Он заслонил лицо своё рукой.



Она доверчиво и без страха поглядывала на него
и слегка махала хвостиком.



Такова ходит молва о богатырской силе немого.